Н. Н. ПОКРОВСКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РЕДКИМИ КНИГАМИ

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РЕДКИМИ КНИГАМИ

Москва «Книга»
1984

ББК 76.11
П 48

Вступительная статья
академика Д. С. Лихачева

Рецензент
доктор исторических наук,
профессор С. О. Шмидт

П $\frac{4503000000-049}{002(01)-84}$ 8-84

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

Предлагаемая вниманию читателей книга написана крупнейшим знатоком сибирской крестьянской литературы, по существу открывшим ее, собравшим ее со своими учениками по всему обширному пространству Западной Сибири, Урала, Алтая и давшим ей глубокое научное истолкование во всех аспектах: археографическом, источниковедческом, историческом, идеологическом и литературном.

До «археографического открытия» Сибири, произведенного Н. Н. Покровским, его коллегами и учениками, считалось, что в Сибири древнерусская книжность представлена очень бедно, ибо какие могут быть, казалось, древние книги в стране, освоенной в основном в XVII и последующие века?

Однако оказалось, что русские переселенцы везли с собой наряду с самым необходимым для первоначального своего устроения книги, книги и книги, а затем в своей многотрудной жизни на новых землях усиленно занимались перепиской книг и созданием своей собственной новой крестьянской литературы.

Первая экспедиция за древними рукописными книгами, организованная Сибирским отделением Академии наук СССР и выехавшая из Новосибирска летом 1965 г., привезла 38 рукописных и старопечатных книг. Это был неожиданный и большой успех, так как предварительные данные о наличии древних книг были еще не собраны. Экспедиция отправлялась в неизвестность.

Уже в этой первой экспедиции 1965 г. Е. И. Дергачевой-Скоп удалось найти рукописный сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого — писателя первой половины XVI в.

Дар академика М. Н. Тихомирова Новосибирской научной библиотеке своего собрания древнерусских рукописей позволил новосибирским ученым не только описывать вновь найденные рукописи, но изучать их на широкой основе сопоставлений с другими. И сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого, найденный в экспедиции 1965 г., оказался по почерку очень близок одному из Хронографов в собрании М. Н. Тихомирова. Это свидетельствовало о том, что в Сибири находятся рукописи отнюдь не местного происхождения и местного значения.

За годы 1965—1983 новосибирскими археографическими экспедициями была охвачена огромная территория. Новосибир-

ские археографы во главе с Н. Н. Покровским создали семь территориальных коллекций, приобрели целиком отдельные крестьянские библиотеки. Новосибирские книжные хранилища были пополнены более чем 1700 рукописными и печатными книгами и отдельными списками. Среди найденных книг оказались новые списки таких важных произведений древней Руси, как «Послание к брату столпнику», по-видимому, киевского митрополита XI в. Илариона, Слова Климента Смолятича и Кирилла Туровского, созданные в XII в., Паремийные чтения о Борисе и Глебе, первоначальные редакции которых относятся к XII в., Сказание о Мамаевом побоище, созданное в XV в., Повесть о царице Динаре, написанная в XVI в., и многие другие.

Среди значительнейших открытий новосибирских ученых может быть отмечен и найденный на Алтае в 1968 г. рукописный сборник, содержавший наиболее ранние и наиболее полные записи о суде над известным ученым и публицистом XVI в. Максимом Греком. Об этом сборнике речь будет особая в этой книге[1]. Но дело не только в известных произведениях и в материалах об известных авторах. Была открыта огромная крестьянская литература XVIII—XIX вв.—литература, свидетельствующая о неутомимых, горячих и бескомпромиссных поисках народом правды-истины, об отчаянной борьбе крестьянства с самодержавным государством за право думать и верить по своему собственному разумению[2].

Новосибирская школа археографов—это явление удивительное в наших гуманитарных науках. Здесь объединены филологи и историки, искусствоведы и музыковеды,—объединены «комплексной темой». Это только называется «комплексная тема», а по существу—это многосторонние культурные аспекты изучения целого своеобразного континента, огромной страны, раскинувшейся на территории, равной по площади Европе.

[1] Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. Издание подготовил Н. Н. Покровский. М., 1971; Покровский Н. Н. Замечания о рукописи «Судных списков» Максима Грека.—В кн.: ТОДРЛ, т. XXXVI. Л., 1981, с. 80—102. См. главу IV в этой книге.

[2] Покровский Н. Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе Урала и Сибири.—ТОДРЛ, т. XXX. Л., 1976, с. 173—183; Он же. Новые находки произведений крестьянской литературы Урала и Сибири в XVIII веке.—В кн.: Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972, с. 376—377; Он же. К изучению памятников протеста крестьян-старообрядцев Западной Сибири середины XVIII века.—В кн.: Бахрушинские чтения, 1971 (Вып. II. Из истории социально-экономического и политического развития Сибири в XVII—начале XX в. Новосибирск, 1971), с. 50—58.; Байдин В. И. Новые источники по организации и идеологии урало-сибирского старообрядчества в конце XVIII—первой пол. XIX в.—В кн.: Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980, с. 93—109.

Да и археографией это не назовешь, потому что археографам приходится заниматься всем — от изучения почерков и водяных знаков на бумаге до истории широких общественных движений, переселений масс народа в поисках своеобразного крестьянского рая — Беловодского царства, утопии, которая захватывала мечты тысяч и тысяч. Археографы вступают в контакт со всеми, ибо книга — это и есть все. Она — как бы микрокосмос, отражает большой мир, во всяком случае, все представления человека о мире. И археографы, занимающиеся рукописной книгой, так или иначе сталкиваются со всем миром в представлениях людей, создающих книгу.

Только с первого взгляда археография кажется узкой дисциплиной. На самом же деле нет шире этой науки, и пространства ее соприкосновения с другими науками — самые обширные. На основе работ сибирских археографов уже создана сейчас история раннего этапа сибирской литературы, история сибирского крестьянства, созданы многочисленные описания рукописных книжных богатств Сибири, создана история сибирского летописания, начато издание сибирских летописей[1].

Если позволено мечтать в науке, то подумаем о том, чтобы найти и сибирских композиторов из крестьян, как они найдены в Великороссии и как найдены авторы сибирских произведений общественной мысли.

Особый раздел археографии представляют исследования крестьянских жалоб, челобитных, наказов. Нигде так не соединяются судьбы людей и книг, как в исследованиях археографов. Предоставим слово Н. Н. Покровскому. Он пишет:

«Создатели крестьянской письменности — люди сложных и ярких судеб. Биографии многих крестьянских писателей, руководителей народного протеста вполне можно было бы писать в приключенческом остросюжетном жанре. Вполне понятно поэтому стремление новосибирских археографов насыщать свои специальные труды человеческими реалиями, создавать биографические очерки таких людей»[2].

[1] Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литературы Урала и Сибири XVII в.— Свердловск, 1965; Ромодановская Е. К. Русская литература Сибири первой пол. XVII в.— Новосибирск, 1973; Она же. Погодинский летописец (к вопросу о начале сибирского летописания).— В сб.: Сибирское источниковедение и археография.— Новосибирск, 1980, с. 18—58.

[2] Покровский Н. Н. Сибирский Илья-пророк перед военным судом просвещенного абсолютизма.— Известия Сибирского отделения АН СССР, 1972, № 6. Серия обществ. наук, вып. 2, с. 133—136; Он же. Исповедь алтайского крестьянина.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1978 г. Л., 1979, с. 49—57; Он же. Крестьянский руководитель сибирских староверов-поповцев середины XVIII в. Гаврила Морока.— В кн.: Вопросы истории Сибири. Вып. 11. Томск, 1982, с. 17—27.

Изучение народного общественного сознания невозможно без исследования тех изменений, которые происходят с петровской эпохи в механизме воздействия на это сознание со стороны господствующей церкви; процесс этот привел к важным переменам и в источниковой сфере: возникли новые источники, сменились фондообразователи и т. д. Работа по анализу этих новшеств, выполненная Н. Д. Зольниковой на материале Западной Сибири XVIII в., пока не имеет аналогий для других регионов.

Лишь частично эта лакуна закрывается интересным, но не бесспорным исследованием Грегори Фриза[1].

Изучение источников по крестьянским верованиям неизбежно привело новосибирских археографов к древним записям заговоров, календарных обрядов, законодательным и судебным материалам, отразившим борьбу официальной церкви и государства с «крестьянским вариантом» православия, реликтами язычества. Эти работы тесно сомкнулись с известными исследованиями М. М. Громыко о трудовых навыках сибирского крестьянства, их верованиях[2].

Наряду со всеми этими направлениями в Новосибирском научном центре (преимущественно в ГПНТБ) развивались книговедческие исследования по истории книги в Сибири в XVII—XVIII вв. В работах И. А. Гузнер и Л. А. Ситникова подверглись детальному анализу вопросы комплектования и состава ряда сибирских библиотек XVIII—XIX вв., в первую очередь Колывано-Воскресенских и Екатеринбургских горных и учебных библиотек. Хорошие результаты дало при этом изучение библиотечных помет и печатей на сохранившихся экземплярах книг в сопоставлении с описями и реестрами, извлеченными из архивных фондов. Важной находкой является обнаружение каталога 617 изданий и рукописей библиотеки В. Н. Татищева, передан-

[1] Зольникова Н. Д.— В кн.: Источниковедение и археография Сибири. Новосибирск, 1977; Ставленнические дела как источник по социальным проблемам XVIII века, II, с. 14—40; Она же. Табельные дни и организация политической службы духовенства в системе абсолютизма в Тобольской епархии 40—60-х гг. XVIII в.— В кн: Из истории Алтая. Томск, 1978, с. 204—219; Она же. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государства в Сибири (XVIII век). Новосибирск; 1981; Gregory L. Freeze. The Russian Levites. Parish Clergy in the XVIII c. Cambridge Mass., L., 1977.

[2] Покровский Н. Н. Документы XVIII века об отношении синода к народным календарным обрядам.— Советская этнография, 1982, № 5, с. 96—108; Он же. Исповедь алтайского крестьянина...; См. также статьи Л. В. Островской, Н. Н. Покровского и М. М. Громыко в сборнике: Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII—начала XX в. Новосибирск, 1975; монографию М. М. Громыко Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII—первая пол. XIX в.). Новосибирск, 1975.

ных им в Екатеринбургскую горную школу[1]. Начало изучаться также и бытование западноевропейской книги в Сибири[2].

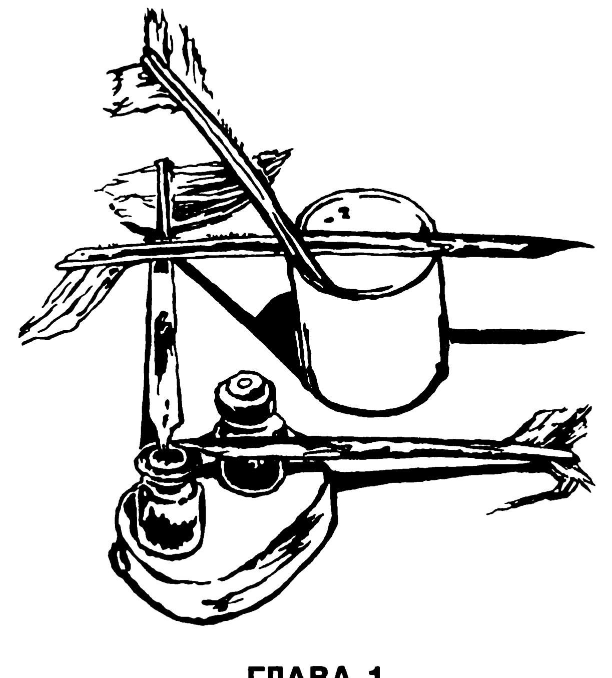
Археографы — это не просто ученые, изучающие рукописи,— это ученые, открывающие людей. Сильной группе сибирских археографов необычайно повезло: они открыли не только отдельных авторов и переписчиков рукописей,— они открыли целую сибирскую крестьянскую литературу, разрушили обывательское представление о крестьянах как о людях, не имеющих особых интеллектуальных интересов. Они отчетливо показали, что крестьянские волнения, время от времени прокатывавшиеся по всей России, имели за собой напряженные духовные искания.

Не сомневаюсь, что читатель с интересом прочтет и разделы этой книги, посвященные переписке рукописей, и разделы о выявлении в найденных книгах сведений о давным-давно ушедшей идейной борьбе, и увлекательный рассказ об одном из ярчайших представителей крестьянской бескомпромиссной борьбы за свободу вероисповедания и за лучшее будущее — Владимире Трегубове.

Д. С. Лихачев

[1] Гузнер И. А., Ситников Л. А. Библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов в XVIII в.— В кн.: Вопросы истории книжной культуры, Вып. 19. Новосибирск, 1975, с. 9—50; Гузнер И. А. В. Н. Татищев и просветительская деятельность урало-сибирских библиотек в XVIII веке.— В кн.: Революционные и прогрессивные традиции книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1979, с. 5—16; Она же. Библиотеки ученых заведений Сибири в первой пол. XVIII века.— В кн.: Книга в Сибири XVII — начала XX в. Новосибирск, 1980, с. 64—77; Она же. Книжное собрание В. Н. Татищева в составе библиотеки Екатеринбургской горной школы.— В кн.: Сибирское собрание М. Н. Тихомирова..., с. 159—169; Ситников Л. А. Книга на заводах Урала и Сибири во второй пол. XVIII в.— В кн.: Революционные и прогрессивные традиции..., с. 17—30.

[2] Ревякина Н. В., Макарова Л. М. Западноевропейская книга XV—XVIII вв. в библиотеках Сибири и Дальнего Востока.— В кн.: Вопросы истории книжной культуры. Вып. 19, с. 149—165; Макарова Л. М. Инкунабулы сектора редких книг из рукописей ГПНТБ СО АН СССР. Там же, с. 166—172; Ситников Л. А. Западноевропейская книга в Сибири во второй пол. XVIII века.— В кн.: Книга в Сибири XVII — начало XX в., Новосибирск, 1980, с. 78—98.



ГЛАВА 1

СКРИПТОРИЙ

Эта первая моя экспедиция за книгами в Сибири отложилась в памяти рельефнее, чем полтора десятка следующих сезонов со всеми их находками, подчас уникальными. Мой опыт поисков книг в селах Владимирщины оказался здесь почти совершенно бесполезным: все определялось удивительным своеобразием сибирских условий, которые предстояло еще познать и осмыслить. Кое-какая пища для размышлений уже имелась: несколько лет назад в одном из самых перспективных сибирских районов побывали мои добрые московские друзья А. И. Рогов и В. Б. Павлов-Сильванский, и я, конечно же, подробно расспросил их об этом. Собственно говоря, именно эти сибирские экспедиции Московской Археографической Комиссии убедили Михаила Николаевича Тихомирова в необходимости создавать сибирский археографический центр и вести поиск древних книг на востоке страны силами этого центра. Дело в том, что эти экспедиции позволили сделать два важных вывода. Во-первых, оказалось, что древняя русская книга в Сибири была. Не выдержали проверки фактами столь логичные, казалось бы, соображения скептиков о том, что в тяжкий путь, протянувшийся на многие тысячи верст, русский крестьянин будет брать с собою не увесистые фолианты, а более необходимый для обзаведения на новом месте груз. Оказалось, что русским переселенцам XVII, XVIII, XIX вв. были почему-то крайне необходимы на новом месте и творения византийских писателей, и страстные обличения господствующей никонианской церкви, и продукция первых центров славянского книгопечатания.

Итак, русскую книгу в Сибири можно было искать. Но одновременно выяснилось, что традиционные методы такого поиска, дававшие хорошие результаты, например в Поморье, требовали в Сибири существенного пересмотра. И это было вторым важным результатом первых экспедиций московских археографов. Иной была среда бытования книги: старообрядчество в Сибири сохранилось много лучше, чем в известных нам тогда районах Европейской России. Традиционная средневековая функция древней книги в Сибири еще не отошла целиком в прошлое. Отсюда — и особое отношение к книге, и особые отношения владельцев книг между собой, и, особенно, к любому чужаку. Все это предстояло познать на собственном опыте.

Надо было учиться строить тот естественный, искренний стиль взаимоотношений с людьми, который помог бы понять наши действительные цели, нашу заботу о культурном наследии прошлого, помог бы преодолеть понятное недоверие сибирских кержаков. В том, что недоверие это будет сильным, сомневаться не приходилось, тревогу старообрядцев за судьбу своих книг вполне можно было понять: веками власти охотились за ними,

М. Н. Тихомиров со своими рукописями

Пергаментное Друцкое евангелие нач. XIV в.—древнейшая книга собрания Тихомирова (№ 1), записи на л. 188 сб.

искореняя источник зловредных суеверий, и, к сожалению, наш век долгое время не был исключением.

Пройдут года и, отправляясь в новый район, мы будем чувствовать себя гораздо более уверенно. Нам будет что противопоставить понятному недоверию, традиционной осторожности наших слушателей. Искренность наших целей подтвердят наиболее авторитетные в этой среде люди,—мы уже поймем, что в первую очередь нужно обращаться именно к ним. Мы узнаем многие тысячекилометровые родственные связи, пути

недавних миграций и, приезжая в новый район, будем знать, кому и от кого передавать приветы, семейные новости. Не только мы узнаем многих, но и нас узнают многие.

В тот первый раз было куда труднее. Но и тогда у нас в руках был один важный аргумент — наше знание самых древних книг, умение разбираться в них, не путать Минею с Прологом, поморский орнамент с гуслицким, а почаевское издание с киевским. Те, кто интересовались древней книгой ради ее уничтожения (или позднее ради наживы), как правило, не разбирались во всем этом, плохо знали вековую историю старообрядчества.

Однако прежде чем демонстрировать свои познания, следовало найти собеседников. Некоторые соображения о том, где их лучше искать, у нас уже имелись: информация была получена как упомянутыми московскими экспедициями, так и своеобразной разведывательной группой, отправленной летом 1965 г. из

Новосибирска. В ее составе работали филологи, прошедшие лучшую в стране школу в экспедициях Пушкинского дома, у самого Владимира Ивановича Малышева,— Елена Ивановна Скоп-Дергачева и Елена Константиновна Ромодановская. Эти сведения позднее будут успешно использоваться при планировании маршрутов новосибирских археографов.

Первый маршрут нашей группы в 1966 г. был определен при обстоятельствах особых. Когда летом 1965 г. я последний раз посетил уже смертельно больного председателя Археографической Комиссии, Михаил Николаевич с традиционной дотошностью расспросил меня о перспективах хранения и использования его уникальной коллекции рукописей в Сибирском отделении Академии наук СССР, о том, как осуществляется договоренность о начале поисковых археографических работ. Эта договоренность состоялась за несколько месяцев до того, когда руководители Сибирского отделения академики Михаил Алексеевич Лаврентьев и Александр Леонидович Яншин знакомились в доме на Котельнической набережной, на квартире у Михаила Николаевича, с его щедрым подарком Новосибирску. В больнице мы вспомнили и обсудили опять все узловые моменты той важной беседы. Я рассказал о новосибирских обстоятельствах, о поддержке Алексея Павловича Окладникова, о полной реальности экспедиционных планов. И лишь в последние минуты этой последней нашей встречи Михаил Николаевич порекомендовал мне район поиска. Совсем не тот, что я ожидал. Далекий от прежних маршрутов московских и сибирских археографов. «Район» — очень условный термин в данном случае. Несколько произнесенных Михаилом Николаевичем букв обозначали огромную территорию на юге Сибири, сотни километров горных хребтов, извилистых речных долин. До сих пор не знаю, каким образом в руки Михаила Николаевича попала эта тонкая ниточка — информация о том, что в какой-то из этих долин скрывается нечто, крайне интересное для археографа. В какой долине и что именно скрывается, сам Михаил Николаевич, вероятно, понятия не имел. На основании бывших тогда у нас сведений весь этот район смело можно было объявлять полностью бесперспективным для археографической работы: русское население пришло туда очень поздно, в XX в. никаких известий о наличии там хранителей древней традиции не было. Я проверял это по научной литературе и периодической печати — и тоже безрезультатно. Однако нельзя было пренебрегать советом Михаила Николаевича, ведь он прекрасно понимал значение этого совета для осуществления одного из самых любимых планов последних лет своей жизни. Быть может, правильнее было бы последовать этому совету не сразу, а через несколько лет работы в более надежных районах, когда

новое направление уже закрепится в новом научном центре. Но мы рискнули...

Самые первые минуты экспедиции сопровождались памятным конфузом. Абсолютно не представляя обычаев и порядков в районе наших будущих действий, я на всякий случай отправил в местный научный центр пространную телеграмму, где с восточным многословием описывал государственную важность нашей задачи. Когда мы вчетвером сошли с сильно запоздавшего самолета, мы с удивлением увидели на аэродроме посланную за нами кавалькаду из нескольких грузовых и легковых автомашин. В лучшую гостиницу города нас поместил сам руководитель научного центра, лицо уважаемое, занимавшее к тому же весьма важный государственный пост. Было ужасно неловко, и только серьезная работа могла как-то сгладить это. И здесь помощь, которую охотно оказывали наши хозяева, оказалась очень полезной. Уже к концу первого дня в нашем распоряжении была изрядная информация, свидетельствовавшая, что мы не напрасно приехали сюда. Нас познакомили с несколькими местными интеллигентами, подтвердившими, что здесь могла сохраняться русская старина. Были и туманные припоминания о каких-то книгах в кожаных переплетах, к сожалению, слишком неопределенные и давние, чтобы служить конкретной путеводной нитью. Через несколько дней нам даже показали одну из таких книг, лет двадцать назад привезенную из деревни. Она оказалась обычной перепечаткой начала нынешнего века и для науки интереса не представляла.

В итоге всех этих рассказов складывалось впечатление, что есть два удаленных друг от друга региона, куда имеет смысл ехать. Самолетные рейсы туда были не очень-то частыми и регулярными, и в итоге очередность нашей работы в конце концов определилась Аэрофлотом.

Наш первый маршрут еще недавно отнимал месяца полтора: трудная дорога шла вокруг высоких горных хребтов. Маленький самолет преодолел их за час, и мы оказались на краю большого плоскогорья, невдалеке от самых красивых в Южной Сибири озер. Узкая пешеходная тропа выходила из небольшого села и шла через лес, где в это время еще доцветали крупные багровые орхидеи. Через несколько километров пути — пять дворов, населенных старообрядцами.

Нельзя сказать, что удача сопутствовала нам с первых шагов. Шаги эти были тогда не очень еще умелыми, хотя, как потом оказалось, перед нами были представители старинных кержацких семей, за две сотни лет широко расселившихся по всей Сибири. Мы не сумели тогда завоевать их доверие, несколько книг, которые нам в конце концов показали, были напечатаны в начале нашего века и интереса не представляли.

И только в одном доме нам повезло. Старик Овечкин стал старообрядцем совсем недавно, в вековых обычаях и традициях ориентировался плохо, и больше всего боялся сделать что-нибудь не так. Он, как водится, долго уверял, что никаких книг у него нет и читать по-старому он не умеет. Последнее утверждение было недалеко от истины, но в крохотной избушке Овечкина трудно было не заметить лежавшие почти на виду три большие книги в старых переплетах из досок, обтянутых кожей. Два дня мы читали ему эти книги, рассуждали с ним об их содержании. Одна из них оказалась изданием московского Печатного двора первой половины XVII в. Рядовое издание, ничего сенсационного; во время моей предыдущей поездки за книгами, на Владимирщине, такие встречались постоянно. Но все-таки настоящий XVII в.! До сих пор не без содрогания вспоминаю все то красноречие, которое мы обрушили на голову бедного Овечкина во время этих бесед, убеждая его продать или променять нам книгу. Наконец он не без колебаний согласился.

С первой находкой в рюкзаке уже веселее шагалось по горным тропам, однако эта первая удача долгое время оставалась единственной.

Мы вернулись в областной центр и вскоре уже были во втором из намеченных районов. Новые встречи, многочасовые, а то и многодневные беседы. Оказалось, что, хотя и впрямь русское население появилось здесь лишь в начале XX в., это были выходцы из важных центров сибирского старообрядчества, возникших еще при Екатерине II. Удалось точно проследить миграционные пути семей первых насельников этого края, и именно эта информация позволила в следующие годы осуществить ряд очень успешных поездок, двигаясь по этим миграционным путям вспять. Но пока дни за днями проходили в беседах, не приносивших новых приобретений. Наши недоверчивые и замкнутые собеседники исподволь выясняли степень нашей осведомленности о деталях церковной реформы патриарха Никона и о сравнительных достоинствах теорий чувственного и духовного прихода антихриста на землю, о двух бытовавших здесь вариантах толкования православного учения о Софии Премудрости Божьей. В конце этих разговоров на столе иногда стали появляться книги в кожаных переплетах с медными застежками. Появлялись хотя бы для элементарной проверки — как мы читаем и понимаем старые церковные тексты. Но, увы, эти тщательно копировавшие издания XVII в. тома на самом деле вышли из-под печатного станка начала нашего столетия. Старина подчас воспроизводилась в них так успешно, что их нынешние хозяева, не подозревавшие о возможности датировки бумаги по водяным знакам, часто были убеждены, что хранят

они подлинные дониконовские издания. И кроме этих, так хорошо известных каждому археографу поздних перепечаток — ничего! Ни одной рукописи, ни одной подлинной старопечатной книги. Лишь в следующие годы мы увидим здесь несколько подлинных изданий XVII—XVIII вв., но и тогда они будут встречаться тут реже, чем в археографических поездках по Европейской России. Но к тому времени мы уже будем знать, что во многом это объяснялось концентрацией старины в одной большой современной коллекции. Хозяина этой коллекции помог нам найти необычный вид тех самых поздних книг, которые только и попадались нам в эти первые недели работы.

Необычность состояла в том, что все книги здесь были в замечательном состоянии, аккуратно отремонтированы, переплетены, со всеми застежками, утраченные места текста старательно дописаны одним и тем же красивым полууставным почерком. Между тем бумага и чернила этих дописок были совсем свежими, а почерк, хотя и копировавший старообрядческие образцы петровского времени, также явно принадлежал человеку наших дней. Несомненно, что еще недавно в этих краях работала хорошая мастерская по ремонту книг. Вскоре мы заметили, что сфера ее деятельности распространялась на книги старообрядцев одного из тамошних согласий — «часовенного» — и не затрагивала других согласий. Это несколько сужало сферу поисков.

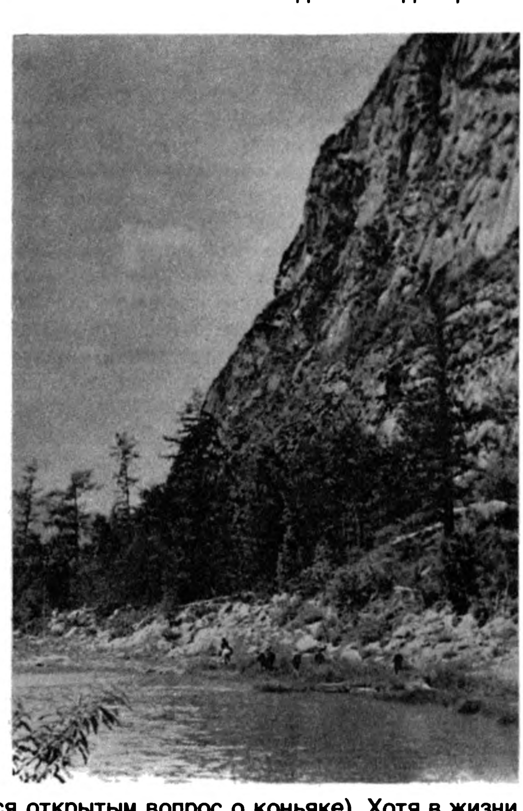
И тут мы впервые столкнулись с непонятным, с таким, чего не бывало в практике предыдущих археографических экспедиций в нашей стране. И хотя речь шла все о тех же поздних изданиях, сразу стало интересно.

Впрочем, следует описать по порядку путь, который привел нас к первой из этих книг. В районном центре мы успели познакомиться с рыжебородым силачом, жизнелюбом и великим бражником. Он умело руководил местной крохотной общиной наименее аскетического согласия «белокриницких» и бригадой плотников, недавно создавшей в лучших традициях сибирского деревянного зодчества красивое двухэтажное здание райисполкома. Старообрядческие устои здесь уже настолько расшатались, что стали возможны совместные возлияния в дни религиозных праздников представителей разных согласий — вещь ранее неслыханная. В один из таких вечеров кто-то неожиданно вспомнил о греховности пьянства, о популярном в старообрядческой среде прошлого века древнерусском поучении о «еже не упиватися». Тогда в спор смело вступил рыжебородый плотник, выдвинув в качестве контраргумента евангельский текст о браке в Кане Галилейской: Христос там не только превратил воду в вино, но, по словам плотника, пил его сам и поил Богородицу. Это отступление от канонического текста дорого

обошлось смельчаку. Уже часть бороды его была в руках оппонентов, когда неожиданно страсти были утишены компромиссным толкованием. Его выдвинул один из грамотных стариков «часовенного» согласия, сказав, что в подлиннике евангельского текста употреблялся термин, обозначавший только виноградное вино. Поэтому его-то и можно пить в умеренном количестве, тогда как хлебное вино находится под строгим

«Гранитные стены обрывались вниз на десятки метров...»

«К концу дня тропинка привела нас к небольшой поляне. За нею — изгородь, стожок сена, огород. Жилье.»



запретом (оставался открытым вопрос о коньяке). Хотя в жизни своей плотник был весьма далек от соблюдения этих ограничений, лингвистические наблюдения старика привели его в восторг и он всячески восхвалял мне его мудрость. Я немедленно выразил горячее желание познакомиться с толкователем. Вскоре я разговаривал с высоким девяностолетним стариком, который ласково глядел на залитый вечерним солнцем палисадник, засаженный лекарственными цветами — марьиным корнем, ноготками, какой-то пестрой «травой от испуга». Разговор

касался высоких книговедческих тем: допустимость пользоваться католическими книгами для обличения самих же католиков, методов узнавания никонианской порчи древнерусских книг, писаний никонианского митрополита петровских времен Дмитрия Туптало. Свои мысли старик тут же иллюстрировал цитатами из книг: из обработанных Дмитрием Четьих Миней, из церковных летописей итальянского писателя Цезаря Барония,

переведенных в XVII в. ярым католиком Скаргой. Книги были все теми же перепечатками конца XIX — начала XX в., в новеньких переплетах. Но вдруг один из этих переплетов привлек мое внимание. Его доски были обтянуты совершенно свежей кожей, которая буквально несколько лет назад разгуливала еще на собственных ногах. Между тем весь сложный рисунок переплета таков, будто нанесший его на кожу мастер был великолепно знаком с только что вышедшим в Ленинской библиотеке исследованием Сократа Александровича Клепикова

о русских переплетах XVI—XVII вв. и имел соответствующие технические навыки. Совершенно свежие оттиски традиционного для московского Печатного двора XVII в. травного орнамента, умело оттиснутые сплошные и прерывистые линии. Особенно удивляла хорошо знакомая по многим старым переплетам тисненая надпись «книга, глаголемая...». Надпись эта делалась всегда особым орнаментальным почерком — вязью. Рисунок и

Переплет московского Печатного двора XVII в.

Общий вид мастерской-скриптория

пропорции вязи со временем менялись, давно уже разработаны принципы датировки древних книг по вязи. Перед нами в затерявшемся в далекой горной долине селе был новехонький переплет с четким тиснением вязью, которая с одного взгляда точно датировалась XVII в.!

Вскоре нам довелось увидеть еще несколько таких книг. Было ясно, что мы столкнулись с живущей (или только что жившей) традицией старинного древнерусского мастерства изготовления книжных переплетов. Это мастерство веками сопут-

ствовало переписке книг, составляло важную часть средневековой техники изготовления манускриптов. Между тем считалось, что самые последние центры по переписке древних книг, последние мастерские-скриптории прекратили свое существование в старообрядческой среде около полувека тому назад; да и они не изготовляли древних переплетов. Последние шаги в этой многовековой традиции прослеживались в талантливой книге

замечательного собирателя древних рукописей Владимира Ивановича Малышева «Усть-цилёмские рукописные сборники».

Надо было искать мастерскую, откуда вышли эти удивительные переплеты. К счастью, мы уже догадывались, где ее искать. Или хотя бы ее следы, память о ней.

* * *

Сразу же за порогами мы вошли в узкое ущелье горной сибирской реки. Гранитные стены обрывались вниз на десятки

метров. Там, внизу, они то почти вплотную подходили к воде, то, расступаясь, давали место зарослям спелой смородины, огромным лиственницам, меж которых шла наша тропа.

К концу дня тропинка привела к небольшой поляне. За нею — изгородь, стожок сена, огород. Жилье. Люди.

Черное, с темнокрасным кантом одеяние временами придавало хозяину этого маленького пустынножительного поселения ту особую осанку и манеру держаться, которые так трудно совместить с повседневной реальностью нашего века. Между тем перед самым нашим появлением он занимался обычным крестьянским делом — ходил на реку ставить сети. Выговор и лицо на первый взгляд такие же, как у многих сибирских крестьян. Лишь приглядевшись, замечаешь печать тех десятилетий, когда авторитет его был непререкаем на многие сотни верст вокруг.

Встретивший нас хозяин пустынножительной заимки не был поражен нашим визитом. Нам был ни к чему тревожащий эффект внезапного появления, поэтому мы охотно называли в каждом старообрядческом доме конечную цель нашего маршрута. Несмотря на безлюдность местности весть о нашем появлении прибыла сюда на несколько дней раньше нашей пешей группы.

Сквозь приветливость встречи проглядывал не только интерес к свежим людям (с которыми, к тому же, можно поговорить и на столь специфическую тему, как последние новости о попытках объединения православия с католицизмом). Мы скоро почувствовали отработанный ритуал приема странников, хоть и редких в этих краях. Несомненно, что главной психологической кульминацией ритуала был впечатляющий эффект демонстрации книжных богатств. Здесь не было и следа робости, столь часто встречаемого страха показать древнюю книгу незнакомым людям. Как раз наоборот: подобный показ не раз уже, видно, служил делу укрепления авторитета этого поселения.

А показать было что! Когда старик подчеркнуто торжественным жестом откинул занавеску из ткани, за ней открылись полки, плотно уставленные десятками старинных томов. Здесь почти не было поздних перепечаток — корешок к корешку стояли издания конца XVI—первой половины XVII в. Хозяин явно умел по-своему (но довольно точно) датировать книги и собирал лишь старинные. Все книги — в образцовом порядке. Передавая их мне одну за одной для краткого знакомства (а заодно и проверки, умею ли я определять их названия, назначение) хозяин не преминул напомнить старинное проклятие всем, забывающим закрыть застежки книги после чтения. И впрямь, ни одной оборванной застежки, утерянные заменены новыми, на некоторых из них — недавно нанесенный чеканный

орнамент. Оторванные части листов аккуратно подклеены и дописаны знакомым уже почерком. Как вскоре оказалось, почерком хозяина этой библиотеки.

Однако настоящее знакомство с самой мастерской произошло лишь на следующее лето, когда наши уверения об интересе к древней книге как единственной цели наших путешествий подверглись уже некоторой проверке временем. Тогда мы получили, хоть и не без труда, возможность сфотографировать инструменты этого скриптория — первого, но не последнего действующего скриптория, обнаруженного нашими группами в Сибири. Потом мы даже стали заказывать для переписки древние тексты, так что коллекция Сибирского отделения Академии наук СССР располагает сейчас древнерусскими сочинениями, переписанными полууставом лишь несколько лет назад, например, «...в лето от сотворения мира 7475» (т. е. 1967 г.). Наряду с готовыми рукописями стали получать в таких скрипториях и «полуфабрикаты» с нераскрашенными еще контурами сложных инициалов и т. д.

Но все это будет потом. А пока мы стояли и смотрели удивительную библиотеку (ныне уже не существующую), задавали первые осторожные вопросы о приемах ремонта книг и их переписки.

В конечном итоге оказалось, что мастерская, пожалуй, даже интереснее, чем иные уже известные науке издания XVI—XVII вв., многие из которых позднее перекочевали на металлические полки книгохранилищ СО АН.

Во второй наш приезд в те места мы с радостью обнаружили, что условия хранения книг этой удивительной библиотеки значительно улучшились. Я много говорил предыдущим летом с обитателями этого поселения, как губительно влияет на старую бумагу сырость, явно ощущавшаяся и в разгар жаркого лета в помещении с худой крышей. На сей раз нам сразу бросилось в глаза, что изба была капитально отремонтирована и заново покрыта добротной лиственничной дранью — дело явно непосильное для живших там стариков. Не без внутренней гордости я хотел приписать такое заметное улучшение силе собственного красноречия, но оказалось, что история эта много сложнее.

Несколько домов этих пустынножительных заимок, включая тот, где находились книги, были отремонтированы к памятной дате — 50-летию появления в этих местах хозяина библиотеки, выходца из пермской крестьянской семьи. Ремонт этот организовал (и сам немало при этом потрудился) бригадир соседнего леспромхоза, человек весьма авторитетный, в свое время изрядно повоевавший с этим самым хозяином библиотеки.

Бурные события тех лет были уже в далеком прошлом, о них нам без утайки рассказывали многие их участники. Незадолго

до начала здесь гражданской войны две 16-летние девушки из местных старообрядческих семей были против своей воли пострижены в монашки соседнего скита матушки Измарагды. Они стали жертвой полуязыческого обычая, бытовавшего там: прикосновение чужого человека к священному монашескому одеянию считалось тяжким прегрешением, загладить которое можно было лишь пострижением этого человека в монахи. Девушки навестили скит, когда все взрослые были на покосе, и, ожидая их, они забавы ради примерили одеяния своих родственниц-монашек.

Вскоре после пострижения суровая скитская жизнь начала тяготить их, а тут пришли в эти края новые времена. Невольные постриженницы задумали неслыханную вещь — побег. Темной ночью их умыкнули двое решительных парней из «близлежащего» (всего лишь в полусотне верст) села.

Почти через полвека в разных местах, в разное время мы нашли всех четверых участников этой романтической истории; рассказанные подробности происшедшего в те далекие времена совпали. Одним из них и был бригадир промхоза. Судьбы обеих беглянок сложились непросто, жизнь бросала их в разные места и ситуации, сведя в конце концов опять вместе, в одной пустынножительной заимке той же горной долины. У первой из них семейная жизнь так и не сложилась; она оказалась очень хорошей работницей, еще до войны прославилась как передовая доярка соседнего совхоза. Совхоз командировал своих передовых людей на ВДНХ, и доярке до конца ее дней хватило рассказов о чудесах столицы.

Оставшись одна после смерти родителей, она ушла туда, откуда начинала свой путь во внешний мир. Одинокая избушка-полуземлянка у скалы над излучиной реки — пейзаж неправдоподобной красоты, трудно поверить, что такое на самом деле существует. Совсем рядом, на самой скале, на точно найденном месте, видном издалека, еще от скита с книгописной мастерской, постепенно возводится для нее и ее подруги просторная пятистенка из лиственничных бревен. Возводит ее все тот же бывший бригадир промхоза, который помог отремонтировать крышу над избой-книгохранилищем, близкий родственник Измарагды — там все родственники.

У подружки был более длинный путь. Она тоже побывала в Москве — накануне войны и в первые ее месяцы. Захваченная вихрем военных событий, она оказалась в Туле — без единого знакомого, потеряв хлебные карточки. Она работала на сооружении известного пояса укреплений вокруг Тулы, затем добровольцем пошла в армию, стала прачкой, проделала весь кровавый путь от Тулы до Берлина, получала награды. В страшные дни на Курской дуге пообещала себе, что если

останется живой, вернется в тихую сибирскую долину. Через много лет пришел день, когда она вспомнила об этом обещании.

Я бережно храню своеобразный сувенир — память о тех беседах, когда мне рассказывали эту удивительную историю: во второй мой приезд в ту долину обе старухи подарили мне аккуратную рукопись в четверку, написанную в те годы, когда будущему Ивану Грозному было еще лет пять от роду; в

Евангелие Измарагды

рукописи четыре красочные заставки удивительно тонкой работы — яркие краски, создающие сложное плетение нововизантийского орнамента, нанесены на листики сусального золота, приклеенные к бумаге рукописи, это Евангелие Измарагды, когда-то бывшее главной достопримечательностью того скита, из которого темной дождливой ночью ушли обе беглянки.

Недавно в нашем институте я показывал заставки книги одному из почетных гостей Академгородка, историку из ФРГ. Он внимательно слушал историю рукописи, время от времени

возводил вверх белесые глаза и почему-то со вздохом шумно шептал: «Unmöglich!»[1]

* * *

Опыт многолетнего общения с обитателями этих поселений (когда они лучше познакомились с нами, а мы — с ними) принес, пожалуй, трроякую пользу сибирским археографам.

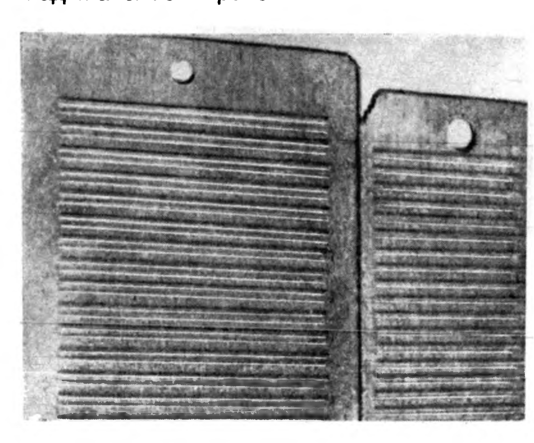
Во-первых, мы смогли наблюдать и описать живую практику переписки древних книг, уходящую корнями в вековую традицию. Эти описания вызвали понятный интерес специалистов, были быстро опубликованы сначала в Ленинграде, а затем в Оксфорде.

Во-вторых, мы впервые увидели (а затем получили возможность скопировать) интереснейшую рукопись, переписанную в этой мастерской и содержащую целый пласт памятников неизвестной народной литературы XVIII в. Находка позволила начать целенаправленный поиск и в экспедициях, и в государственных хранилищах; позднее в него включились и археографы нового Свердловского центра. В результате возникло из небытия яркое явление — крестьянская старообрядческая письменность XVIII—XIX вв. востока страны, мы узнали имена и наполненные острой борьбой биографии создателей памятников этой письменности.

В-третьих, чрезвычайно полезными оказались те советы и сведения, которые мы постепенно получили здесь для дальнейшего археографического поиска в Сибири. Эти ниточки в конце

[1] Невероятно! *(нем.)*

концов навели нас на след одной из самых ценных, по мнению наших московских и ленинградских коллег, археографических находок последних десятилетий: рукописного сборника XVI в. с большим комплексом новых данных по общественно-политической истории России времен Ивана Грозного и его отца Василия III, в том числе—с материалами судебных процессов над Максимом Греком.



Инструменты мастерской. Общий вид

Доска-терекса для линовки бумаги

Каждая из этих трех тем заслуживает отдельного рассказа.

* * *

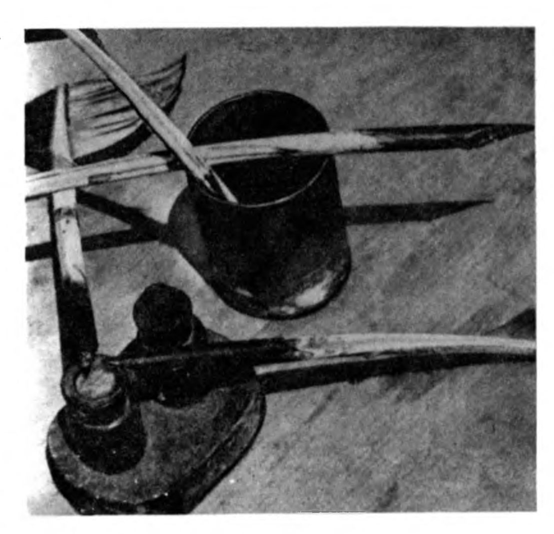
Древнерусская рукопись начиналась, естественно, с бумаги и чернил. В виденных нами сибирских скрипториях переписка древних книг производилась на доступных переписчикам сортах бумаги, по возможности на более плотной, нелинованной; меловая бумага не употреблялась. О наличии водяных знаков на старой бумаге переписчики обычно не догадывались. Для полемических выписок, духовных стихов, отдельных молитв и житий шла любая, оказавшаяся под рукой бумага, в том числе листы из ученических тетрадей, и даже целые тетради.

К бумаге для переписки служебных книг предъявлялись более строгие требования, особенно к нотным (крюковым) рукописям, которые обычно писались на самой плотной бумаге. Перед началом переписки обычно заготавливали тетради по восемь листов (из четырех листов, каждый из которых сгибался вдвое), часто бумага сразу заготовлялась таким образом на всю книгу. Предпочитались небольшие размеры в 4° и меньше; для небольших книг повседневного пользования был очень употре-

бителен размер в 16°. Однако изготовлялись еще и книги в лист; такой размер имеет, например, рукопись «Обиход крюковой», написанная почти на наших глазах четким полууставом, с применением вязи и инициалов.

Нелинованная бумага графится с помощью доски-терексы. Она изготавливается следующим образом. Берется гладко выструганная доска толщиной 3—5 мм и в 1—3 см от конца

Гусиные перья для переписки книг



длинных ее сторон тонким шилом делается по ряду парных отверстий. В отверстия протягиваются толстые нити, которые приклеиваются к доске; получаются парные линии, ограничивающие высоту каждой строки и расстояние между ними. Готовая доска покрывается обычно тонким слоем воска. Для того чтобы разлиновать лист бумаги, достаточно подложить под него терексу и провести несколько раз рукой по бумаге — линии слегка выдавятся на ней. Это нехитрое приспособление проделало долгий многовековой путь из книжных мастерских древней Руси в затерянные среди сибирских гор старообрядческие избушки. Необычным было и то, что само греческое слово «терекса» (тиракса) являлось столь же привычным для нашего хозяина, как и название любого предмета повседневного крестьянского обихода. Необычно было и слушать его неторопливый рассказ об изготовлении тираксы; таким же обыденным тоном он расскажет чуть позднее, как делают в этих краях «карпету» (т. е. торпеду) — снасть для ловли харьюза.

В более глухих и отдаленных районах еще хорошо помнят

железистые чернила, хотя из-за отсутствия дубовых орешков эти чернила уже давно не делали. Для изготовления их брали дубовые орешки, железные опилки, кислый квас, камедь. В наиболее замкнутых скитах употребляли чернила из березовой чаги: наплыв на березе очищался от коры, распиливался на небольшие пластины, которые вываривали два-три дня, причем жидкость несколько раз охлаждали и опять кипятили с кусками дерева; в полученный буро-коричневый настой добавляли лиственничную камедь. Кроме того, изготовляли чернила на саже, тоже с добавлением камеди. Все больше и больше распространялись покупные фиолетовые, синие, черные, красные чернила. Была известна также черная и красная тушь, хотя далеко не везде. Еще совсем недавно, в 20-х гг. изготовлялась из покупного порошка и применялась киноварь, однако позднее она была целиком вытеснена красной тушью и чернилами. Кое-где для орнамента употребляли желтую, зеленую и коричневую акварельные краски.

В той, первой обнаруженной нами мастерской книги переписывались только гусиными перьями. Стальные перья были известны и там; нам даже объясняли, как их затачивать, чтобы они давали ровную и достаточно толстую линию полууставного почерка. Однако применение стальных перьев здесь осуждалось как новшество, противное традиции. Нам рассказывали, что для нотных (крюковых) рукописей с их особо толстыми линиями употребляются орлиные перья, однако увидеть их нам не удалось.

В менее отдаленных районах книги переписывались, как правило, особо заточенными стальными перьями, или даже обычными стальными, однако и здесь иногда применяли еще гусиные перья.

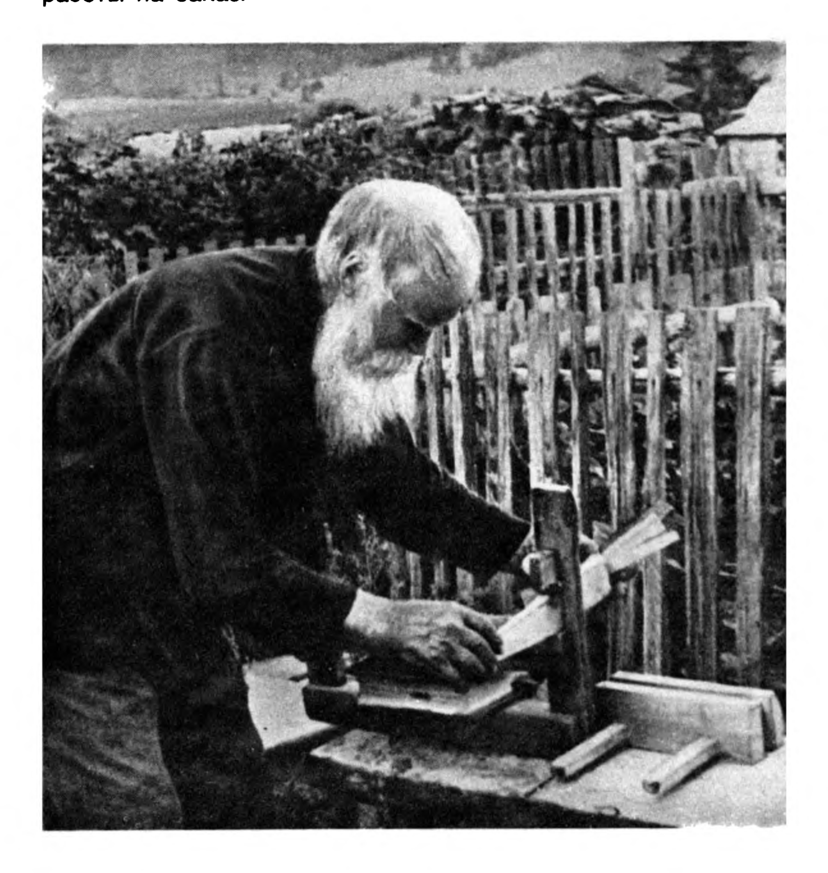
При копировании текста, чтобы не сбиться со строки, на оригинал накладывалась небольшая медная линейка, один край которой слегка загнут; она передвигается по строкам по мере переписки.

Переписка книги в две-три сотни листов занимала обычно несколько месяцев; переписчик редко мог посвящать этому каждый день. Один из наиболее опытных сибирских переписчиков говорил нам, что в день переписывает по 8—10 страниц в 4°, если отводит на это весь день. Всего он переписал за свою жизнь более полусотни книг (тогда ему было более 80 лет). Почерк его очень устойчив и легко узнать книги, написанные его красивым полууставом 30—40 лет назад.

Переписанная книга брошюруется и переплетается обычным порядком, с употреблением материалов и инструментов, хорошо известных в переплетном деле: суровых ниток, шпагата, столярного клея и мучного клейстера, П-образного станка для сшива-

ния тетрадей, пресса с деревянными винтами или клиньями, косого ножа для обрезки.

Доски переплета в наши дни редко уже обтянуты кожей, обычно ее заменяет плотная ткань. Такой переплет с досками, обтянутыми тканью, и с медными застежками для рукописи в 8° стоил несколько рублей. Мастера регулярно делали подобные работы на заказ.

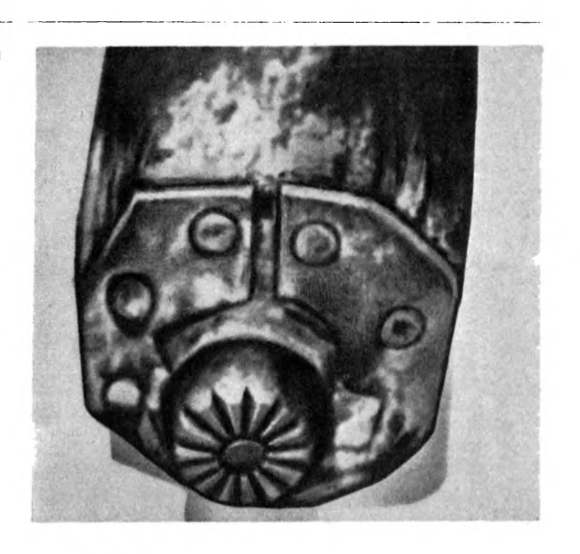


«В другом доме, за сотни верст от первого скриптория, мы наблюдали, как хозяин дома кончал переплетать рукопись...»

«...в то время, как хозяйка изготовляла опояски „на плашках“ »

Изготовление переплета из досок, обтянутых кожей, тогда еще не исчезло совсем. Именно этим объяснялись странные переплеты, виденные нами. Все стало понятным, как только нам показали набор инструментов для изготовления и тиснения кожаных переплетов. Среди них были многочисленные штампы и валики для горячего тиснения орнамента. Загадка вязи XVII в. на современных переплетах объяснялась очень просто. Был

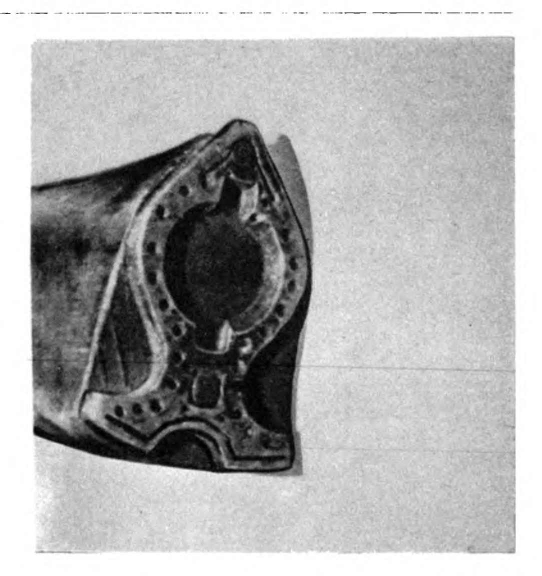
Штампы для тиснения кожи переплета



взят какой-то подлинный переплет первой половины XVII в. С соответствующих его мест наш хозяин изготовил глиняные оттиски, рельеф оттисков был им затем углублен, и после обжига глины получились готовые к употреблению штампы.

Кроме штампа с вязью «книга глаголемая», таким же

Штамп для медной застежки



Штамп «Книга, глаголемая...»

образом были изготовлены шестиугольные, ромбовидные и треугольные штампы древнего растительного орнамента. Другие штампы и валики — из бронзы и даже из алюминия также стремились подражать старым образцам, далеко не всегда точно повторяя их.

ГЛАВА 2

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ МИРОН ГАЛАНИН И ХОЛОП МАКСИМ

С самого начала археографический поиск филологов и историков Академгородка направлял один важнейший пример, ценная концепция, выработанная за долгие годы уникальных обследований русского Севера археографами Пушкинского Дома. Работы крупнейшего энтузиаста и подвижника этих обследований В. И. Малышева доказали, что есть еще на Руси места, которые могут интересовать археографа не просто как более или менее обильный резервуар старинных книг. Места эти были когда-то, в XVII—XIX вв., центрами своеобразной крестьянской культуры, здесь были свои школы переписчиков, даже своя литература. Крестьянские династии переписчиков В. И. Малышев проследил вплоть до 20—30-х гг. нашего века. Сибирь имела и в прошлом немало общих черт с европейским Севером, и, отправляясь впервые в археографические маршруты, мы мечтали обнаружить в Сибири какие-то следы существования здесь в прошлом центров крестьянской письменности и литературы, подобных тем, что так замечательно описал В. И. Малышев. Обнадеживали и результаты, полученные первой разведывательной группой Е. И. Дергачевой-Скоп и Е. К. Ромодановской, отправленной в 1965 г. из Новосибирска. Обнаруженные ими районы крестьянской книжной культуры прошлого в ближайшие годы дадут немало ценных находок: там же будет добыта самая древняя из спасенных сибирскими археографами русских рукописей — она датируется серединой XV в. и содержит, в частности, список одного из произведений цикла литературных памятников XII в., посвященного князьям Борису и Глебу.

Знакомство со скрипторием укрепило наши надежды. Каждый год приносил все больше сведений о переписке древних русских книг крестьянами-старообрядцами Урала и Сибири в XVIII и XIX вв., а подчас и во второй половине XX в. Но без ответа оставался еще один важнейший вопрос: неужели они ограничивались лишь перепиской сочинений чужих авторов, эпох и территорий? Существовала ли, скажем, в XVIII в. собственная письменная литература крестьян Урала и Сибири? Давно уже был известен большой исторический труд — сибирская летопись, написанная в интереснейшей ямщицкой семье Черепановых. Можно ли поставить что-нибудь рядом с ней или это единственный пример?

Здесь мы вступаем в довольно туманную область, в которой современную науку ждет еще немало интересного — литература огромных крестьянских масс России. Ее сюжеты, герои, методы, мировоззрение, эстетика, особенность, специфика произведений, написанных самими крестьянами и пользовавшихся особенной популярностью у крестьян. Литература (и вообще культура) широких народных масс всегда привлекала к себе особое внимание советских ученых — вспомним хотя бы ставшие классическими работы В. П. Адриановой-Перетц. И все же здесь огромное поле деятельности для исследователя. Мы все лучше и точнее познаем непреходящее общечеловеческое значение этой культуры, немалое ее влияние на творения профессиональных художников, литераторов. Но все еще очень мало понимаем, как отразились в ней особенности крестьянского сознания и психологии, в чем ее собственные законы, способ видения мира, символика. (Больше повезло тут фольклору, но не о нем сейчас речь.)

Научная важность этой проблемы народной культуры была одной из причин, определивших ту постоянную и неоценимую помощь, которую оказывали новосибирским археографам знаменитые научные центры Москвы и Ленинграда — Пушкинский Дом, Археографическая комиссия, большую заинтересованность в нашей работе Дмитрия Сергеевича Лихачева, Сигурда Оттовича Шмидта и многих других.

В последнее время у исследователей, как и у собирателей, опять входит в моду лубок. Но и здесь — сходные проблемы. Можно объяснить человеку, чей художественный вкус воспитан на посещениях картинных галерей и вернисажей, что дал русский лубок, скажем, книжной гравюре и станковой живописи, профессиональным художникам. Куда труднее сейчас постичь, что и как именно видел в лубке русский крестьянин XVIII в. Судить о лубке лишь по законам развития чужих ему жанров бесполезно и несправедливо.

Разные стороны народного миропонимания прошлых веков все сильнее привлекают внимание ученых. Специалисты все точнее и лучше узнают многие детали народной культуры, быта; сейчас довольно подробно можно рассказать, как одевались крестьяне такой-то губернии в такое-то время, как строили и украшали дома, как и чем работали, что ели, какие песни пели и сказки рассказывали. Этнографические и фольклорные наблюдения сводятся в обобщающие исследования, атласы. При этом оказалось, что материальная культура народа изучена лучше духовной. И не первый уже год длится странная дискуссия среди историков на тему — а была ли у крестьян феодальной России своя идеология? Спор давно уже стал чисто терминологическим, а потому и беспредметным. Противники

признания у дореформенных крестьян идеологии понимают под ней нечто научно-системное, характерное лишь для куда более поздних времен,—и во взглядах их оппонентов они поэтому видят лишь набившие горькую оскомину попытки подтягивать развитие русского абсолютистского государства под западноевропейскую хронологию.

А между тем ведь народ всегда имел сумму взглядов и об устройстве мира, и о порядках в обществе, и о многом другом. Взгляды эти сильно отличались от наших сегодняшних, но ведь они были! И когда в народную среду проникали насаждаемые сверху идеологические системы, они претерпевали разительную трансформацию в соответствии с представлениями и целями этой среды. Идея «божьей правды» обличала социальную неправду феодального общества, идеи монархизма трансформировались в представления о «неистинности» правящих царей, в поддержку самозванцев, в принятие имени Петра III Пугачевым. Система христианских идей о конце света—церковная эсхатология превратилась в старообрядческое учение о русском царстве как царстве антихриста, о душепагубности подчинения слугам царя-антихриста. Это учение стало популярным в крестьянской среде далеко за пределами строгих ревнителей старой веры; казенная церковь и полицейское государство остро реагировали на его распространение, разыскивая и наказывая народных обличителей, сжигая обличения (а подчас и их авторов, распространителей). Борьба породила литературу. Но ни эта борьба, ни эта литература применительно к огромным просторам востока страны почти не были известны науке.

Таким образом, возвращаясь к нашему конкретному предмету исследования—урало-сибирской крестьянской литературе, сначала, еще до всех этих проблем, предстояло выяснить: а существовал ли сам этот предмет? Его неизученность в прошлом объяснялась очень просто—нечего было изучать. В государственных хранилищах и в частных коллекциях произведений этой литературы (за упомянутым исключением) обнаружено не было. Археографы Академгородка начали искать их, естественно, в районах прежних старообрядческих поселений.

Была одна обнадеживающая деталь. Она промелькнула в провинциальном старообрядческом издании, каких немало стало появляться после первой русской революции. Помещенные там краткие очерки екатеринбургского купца А. Кузнецова о жизни уральских крестьян-старообрядцев в XVIII в. историки не заметили, они были написаны в примитивно-апологетическом духе и возбуждали весьма обоснованные подозрения по части достоверности приведенных в них сведений. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что в распоряжении А. Кузнецова были какие-то старообрядческие источники о местных

событиях XVIII в. Источники эти А. Кузнецов не называл, но они, несомненно, существовали еще в начале нашего столетия. Стоило искать.

Оригинальное уральское сочинение об истории борьбы урало-сибирских кержаков против феодальной церкви и государства в XVIII в. попало к нам в руки довольно быстро, однако удержать его мы не сумели. Это было еще на подходе к тому первому нашему скрипторию. Случай лишь на первый взгляд кажется исключительным, на деле же любой археограф признает в нем обстановку обычную. Дело происходило в небольшом селе, в паре часов ходьбы от районного центра. Рукопись принадлежала человеку, пытавшемуся (как вскоре оказалось, довольно безуспешно) играть роль местного наставника. Беседа с ним долгое время никак не налаживалась и несколько оживилась лишь после того, как он узнал конечную цель нашего маршрута. Тогда-то он показал нам свои книги — десятка два поздних перепечаток и рукопись. Выглядела она не очень-то заманчиво для собирателей старины: бумага из ученической тетради, фиолетовые чернила, полууставной почерк, которому явно нет и полувека. Да и содержание сначала разочаровывало — сочинение было составлено лишь в конце прошлого века неким уральским отцом Нифонтом, в числе источников упоминался какой-то гимназический курс истории церкви, известные исследования по истории старообрядчества. Лишь позднее, при более внимательном изучении рукописи удалось обнаружить, что Нифонт широко и, к счастью, довольно механически, без переработки использовал абсолютно неизвестные науке произведения крестьянских историографов — уральцев и сибиряков XVIII в.

Но когда мы среди прочих книг бегло просматривали эту неказистую рукопись, она казалась не очень интересной. Мы попытались, однако, приобрести ее — безуспешно. После долгих утомительных переговоров удалось лишь упросить владельца передать нам завтра рукопись для копирования на несколько часов. Но за этот день все коренным образом изменилось из-за нашей случайной неосторожности.

Нас очень интересовал маленький, в три-четыре дома хутор неподалеку. Мы никак не могли найти контакт с его обитателями, хранившими какие-то старые книги. Неожиданно оказалось, что сын самого влиятельного из хуторских стариков — один из служителей Фемиды в районном центре. Он принял нас чрезвычайно любезно и с радостью согласился уговорить отца показать нам книги. Он предложил поехать к его отцу вместе с ним на милицейской машине, и мы, увы, согласились по неопытности, радуясь экономии времени. Визит прошел хорошо, сын убедил отца, что никаких дурных намерений мы не имеем, а

работаем для науки, нам были показаны все книги (кстати говоря, не интересные для нас). Но на обратном пути, когда мы с благодарностями покидали машину, эту сцену заметила глазастая и въедливая старуха из того самого села, где мы накануне видели сочинение отца Нифонта. В тот же день все старообрядческие двери этого села были закрыты перед нами.

Старуха, конечно, могла насочинить о нас немало,— мы знали уже ее буйную фантазию, когда она излагала нам собственные варианты старых византийских текстов о приметах приближения Страшного суда: эта популярная тема была расцвечена ею так, что ни в какие канонические рамки уже не вмещалась. Но и старухиных односельчан, поверивших ее рассказам о нас и испугавшихся наших расспросов о древних книгах, вполне можно было понять. Лет десять назад в этом районе по недомыслию уничтожили большое собрание древних книг, среди которых был, например, экземпляр одного из лучших изданий Ивана Федорова, Острожской библии,— и мы никогда не узнаем, что еще. Закрывая пред нами двери, старики были уверены, что спасают этим свои книги от уничтожения.

Так рукопись с сочинением отца Нифонта ушла от нас, скорее всего — навсегда. Но уже через неделю удалось обнаружить другой, более исправный и старый список его.

Мы сидели на небольшой поляне близ прилепившейся к скале мастерской по переписке книг, рядом с которой была и келья хозяина скита. Старик все в том же своем черном одеянии с простодушной гордостью рассказывал, как он не снимал его даже во время знаменитого своего тысячекилометрового пешего похода через непроходимые безлюдные горы; он демонстрировал нам случайно полученные перед этим походом от какого-то епископа навыки решения практических задач по исторической хронологии при помощи «руки Дамаскина». (Сделанные им в связи с этим таблицы и рисунки соотношения лунного и солнечного календарей были нам подарены и попали в хранилище рукописей СО АН лишь недавно, после смерти старика: на сороковины друзьям и знакомым раздавали книги его библиотеки.)

Разговор этот происходил в обстановке на редкость живописной: — высокие горы подходили крутыми уступами скал к самой избушке, от скал к огородам был отведен по деревянному желобу ручей, а вся поляна перед нами была плотно заставлена раскрытыми славяно-русскими рукописями и изданиями всевозможных размеров, от огромной Толковой Псалтыри весом более пуда до маленького Месяцеслова 16°. Ручей весной разливался, в ущелье было влажно, книги отсырели, и мне

удалось уговорить старика воспользоваться нашим присутствием и устроить просушку всей библиотеки. Ветер медленно перебирал листы книг. Беседа неторопливо переходила с одного сюжета на другой. Поглядев на нотную (крюковую) книгу, старик вспомнил, как обучался еще перед русско-японской войной петь «по крюкам» (многие, самые древние и интересные, виды крюковой нотации до сих пор еще не поддаются расшифровке). Тогда он даже инсценировал самоубийство, чтобы его не искали родные и он смог получить необходимые для обучения несколько лет досуга.

Заговорили о том, как часто гибли и гибнут книги,—следы огня или плесени были и на многих книгах вокруг нас. Старик достаточно близко к подлиннику пересказал известную повесть писателя времени Ивана Грозного Ивана Пересветова о том, как «турский салтан Махмуд» пытался сжечь греческие книги, но устрашился чуда и пощадил их. Вспомнили о кострах из древних книг при царевне Софье и царицах XVIII в. И вполне естественным был вопрос: что знает наш хозяин о борьбе крестьян-старообрядцев Урала и Сибири во времена Анны Иоанновны и Елизаветы за свободу своих убеждений, против синодальных губителей старых книг, инквизиторов и миссионеров, снабженных для большей убедительности воинскими командами? И вот тут неожиданно оказалось, что познания нашего собеседника в этой области много шире того, что известно науке,—он называл (хотя и сбивчиво) имена руководителей крестьянского протеста в XVIII в., о которых мы и понятия не имели. К счастью, старик не скрывал источника своей поразительной осведомленности. В руках у него откуда-то появилась любовно переплетенная им в кожу книжица с двумя медными застежками.

Он открыл их. Там было не меньше двух сотен листов, переписанных четким полууставом нашего хозяина несколько десятилетий назад. Вся книга состояла из сочинений по истории урало-сибирских крестьян-старообрядцев XVIII и частично XIX вв., и ни одно из этих сочинений не было известно науке! Подлинность их легко доказывается.

По материалам этого сборника теперь сделано уже несколько научных докладов в Москве, Ленинграде и Новосибирске, подготовлены публикации и статьи, сведения оттуда включены в созданные ИИФиФ СО АН обобщающие труды: двухтомник истории русской сибирской литературы и пятитомник истории сибирских крестьян.

Самое первое наше ознакомление с этими материалами состоялось в форме многочасового выразительного чтения для всех обитателей скита. Если учесть, что при этом надо было строго соблюдать старые нормы произношения (их нарушение—

самая худшая рекомендация в такой среде), будет ясно, что эта неизбежная тогда форма знакомства с новым источником была не лучшей для анализа и научной критики его. Конечно, мы стали активно добиваться иных возможностей для изучения сборника, но не тут-то было. Лишь летом 1970 г. рукопись приехала в Академгородок благодаря многолетним стараниям постоянного участника наших первых экспедиций, тогда еще студента, Г. П. Енина. К тому времени мы уже кое-что знали о многих из упоминаемых в ней крестьянах XVIII в.

Главное место в сборнике занимало то самое историческое сочинение отца Нифонта, список которого ушел из наших рук из-за неосторожного пользования казенным транспортом. В этом сочинении, в частности, было сказано, что сведения о крестьянах XVIII в. были заимствованы Нифонтом из какого-то исторического произведения «ирюмского жителя Мирона Галанина».

Позднее, в одном сибирском городке, на окраине, в деревянном домике, насквозь проспиртованном от непрерывных возлияний, мы приобрели небольшую рукописную тетрадку, подтверждавшую это.

* * *

Имя ирюмского крестьянина Мирона Ивановича Галанина в 40—50-х гг. XVIII в. было хорошо известно делопроизводителям и чинам Тобольского архиерейского дома, а через 30 лет оно не раз встречалось в делах синода и даже сената.

Известность была вполне заслуженной: среди тех, кто в те годы становился во главе мужественного сопротивления крестьян притеснениям и насилиям казенной церкви и самодержавия, он играл далеко не последнюю роль. Но посмертная слава — вещь крайне прихотливая. И хотя последователи Мирона Ивановича почти два столетия сохраняли память о нем, переписывали его произведения и сочинения о нем, весь этот пласт устной и письменной традиции слишком далеко отстоял от культуры верхов дореволюционной России. Пробудившийся после замечательных трудов А. П. Щапова интерес к народному старообрядческому протесту открыл науке немало подобных имен. Но до Мирона Ивановича очередь не дошла; труды его, его имя оставались неизвестными и советской историографии. Это в общем-то понятно: трудно что-либо найти, когда неизвестно, что искать.

Обнаруженный в скриптории сборник называл ряд имен, можно было начинать целенаправленный поиск среди архивных документов, собраний рукописей библиотек и музеев, в археографических экспедициях.

То, что будет изложено об этом человеке и его соратниках ниже, открылось постепенно. Обнаружились относящиеся к ним документы судебно-следственных дел, отложившиеся в фонде главного противника М. Галанина — Тобольской духовной консистории. О его «злокозненных» делах тобольские духовные власти сообщали «наверх», в столицу. Поэтому успешными оказались поиски в фондах синода и сената. Веками церковь

На одной из заимок мы получили в подарок иллюстрированную рукопись о путешествии в VI в. в Индию монаха Козьмы.

неустанно разыскивала и конфисковывала старообрядческие книги, большая часть их сжигалась, но кое-что откладывалось в фондах соответствующих церковно-карательных учреждений. Следы жизни и творчества Мирона Ивановича Галанина обнаружились и среди этих книг. Постепенно заполнялись многие лакуны его биографии, относившиеся ко второй половине XVIII в. Но до недавнего времени последние сведения о нем обрывались на документах об его руководстве массовым антицерковным движением 1782—1784 гг. Что с ним было потом,

как он окончил свои дела, до недавнего времени мне было неизвестно. Но недавно опубликована статья моего ученика, молодого уральского археографа В. И. Байдина, относящаяся как раз к последнему периоду жизни и деятельности М. И. Галанина. В Свердловске в последние годы создался активный, очень интересно работающий археографический центр, использовавший в своей деятельности и новосибирский опыт. В частности, в розыске сочинений местных крестьянских писателей. Среди них были и люди, упоминавшиеся в том нашем сибирском сборнике. Несколько входивших в его состав сочинений были найдены в других, подчас лучших редакциях. Среди этих сочинений центральным было «Родословие» наиболее массового на востоке страны «часовенного» согласия старообрядцев, к которому принадлежал и Мирон Иванович Галанин. Свердловчане нашли потом более раннюю редакцию этого «Родословия», нашли и другие «родословия», нашли материалы крестьянских соборов первой половины XIX в., в которых не раз упоминалось имя Мирона Ивановича. Когда мы узнали об этих соборах, появилось новое направление поиска. Наша аспирантка Л. С. Соболева в горах Средней Сибири обнаружила рукопись, в 1928 г. принадлежавшую уже знакомой нам матушке Измарагде; в ней оказались материалы одного из таких соборов. Подробный рассказ о другом соборе, 1840 г., находился в огромном сборнике, составленном в конце прошлого века в крестьянской семье в Зауралье, неподалеку от родины Мирона Ивановича. В этой семье было написано несколько таких колоссальных сборников; счет страниц из них идет на тысячи. И хотя эта семья принадлежала не к часовенному, а к поморскому согласию, на страницах сборника нашлось место и для материалов собора 1840 г., когда у часовенных окончательно победила точка зрения тогда уже покойного М. И. Галанина о необходимости полного разрыва любых сношений с господствующей церковью.

Так постепенно выяснилась эта интересная биография. Имя М. И. Галанина впервые появляется в судебно-следственных материалах Тобольской консистории на грани 1740-х и 1750-х гг. В это время в деревнях, затерянных среди обширных болот и лесов Тюменского уезда, вокруг Мирона Ивановича складывался один из очагов сопротивления духовным и светским властям. Проповедь Галанина увлекала в далекие лесные избушки многих крестьян, убегавших от налогов, от притеснения попов-«щепотников». Это были годы правления в Тобольске митрополита Сильвестра Гловатского, предпоследнего представителя украинского духовенства на тобольской кафедре. Он был щедро наделен всеми теми достоинствами и недостатками, которые характеризовали многих видных представителей украинского

духовенства, в течение столетия оказывавших серьезное влияние на великорусскую церковную жизнь. Он являлся активным поборником просвещения (но лишь церковного!), фанатичным борцом за православную ортодоксию в украинском ее варианте, неустанным, хотя и недостаточно гибким миссионером, считавшим распространение православия среди инаковерующих одной из главных задач церкви и охотно прибегавшим к насилию для

«Здесь мы впервые увидели (а затем получили возможность скопировать) интереснейшую рукопись, переписанную в этой мастерской и содержащую целый пласт памятников неизвестной народной литературы XVIII в.» (с. 24)

выполнения этой задачи. Резкость и самоуверенность сочетались в нем с непосредственным восхищением собственными талантами. Он любил сообщать поэтому членам синода о победах его риторики над косностью старообрядцев во время архипастырских увещеваний, забывая упомянуть при этом, что его красноречие подкреплялось пытками, казематами, грядущим приговором суда. Тот пыл, с которым он принялся за искоренение старообрядчества в своей епархии, быстро превратил напряженную обстановку в тюменских старообрядческих деревнях в критическую. Одна за другой, в ответ на насилие Сильвестра, запылали гари. Сильвестр неустанно бьет тревогу, в десятках писем в столицу требует применения все более суровых мер, изобретает неизвестные дотоле репрессии. Каждая из этих яростных бумаг завершается твердой четкой

подписью, украшенной тремя росчерками: «святейшаго правительствующаго Синода послушник, смиренный Сильвестр, митрополит тобольский». Вся эта миссионерская деятельность примет настолько опустошительные размеры, что в 1755 г. Сильвестра уберут из Тобольска.

В разгар всей этой борьбы в лесных убежищах Мирона Галанина стало особенно многолюдно. Шумные сборища укрывавшихся здесь окрестных жителей обсуждали неизбежность традиционного трагического ответа на преследования в случае, если они будут обнаружены военными командами, посланными для их поиска. Но беглецов тогда не обнаружили, и самосожжение не состоялось. Местоположение тайных лесных избушек Галанина стало известно властям лишь позднее, когда общий накал борьбы стал временно стихать. О главном тайнике Мирона Ивановича, расположенном вдали от населенных мест, «между непроходимыми и великими болотами на острове в великих лесах в двух избушках», донес в Тобольскую консисторию церковный дьячок села Карматского Антон Байбалов. В марте 1754 г. трое карматских церковнослужителей, взяв с собою трех вооруженных татар, преодолели по зимнему пути болото и попытались захватить обитателей этого скита. С Галаниным в это время, кроме его друга Михаила Девяшева, было лишь четверо беглых крестьян, остальные скрывались в соседних лесах.

Тем не менее священнику Григорию Мухину пришлось донести, что экспедиция его не увенчалась успехом: «Оных раскольников за многолюдством и отгнанием оружием и копьями мне в малолюдстве взять было невозможно».

Перед началом этого «отгнания» раскольники успели не без гордости сообщить, что в подобных избушках собралось изрядное число крестьян Исетской провинции, убежавших от преследований и готовых «гореть за веру Христову». Открывшийся немедленно после этого двухчасовой диспут о выяснении истинной веры окончился не в пользу служителей официальной церковной догмы: Мирон и Михаил «на увещания не склонились, но тотчас лаятели и терзатели матерь нашу церковь кафолическую явились и называли еретической». Мало того, Галанин даже называл при этом самого тобольского митрополита халдеем — аттестация весьма оскорбительная для каждого, почитающего Ветхий завет (вскоре Галанин имел возможность и смелость повторить эту выразительную характеристику в застенках Тюмени и Тобольска).

Не осилив своих идейных противников в открытом споре, церковники прибегли к более привычному методу убеждения и вызвали военную команду во главе с самим тюменским воеводой; Галанин и пятеро его товарищей были арестованы. Еще

несколько лет воинские команды вылавливали по окрестным лесам крестьян, бывших «в зборище к сожжению с Мироном Галаниным». Интересно отметить, что при захвате в декабре 1755 г. группы крестьян из окружения Галанина у них была найдена среди других «книга письмянная гладью (т. е. скорописью.— *Н. П.*) о разном раскольническом толковании, да тетрадок гладью писаны и малерованая, всего 11». Почти тридцать лет спустя, в 1784 г., при новом аресте друга Галанина Михаила Девяшева (он и на этот раз был арестован одновременно с Галаниным) было захвачено 30 книг и рукописей.

Первое заточение Мирона Галанина было очень длительным и мучительным. Он смог опять вернуться на родину, на Ирюм, лишь через двадцать долгих лет, претерпев в тобольских казематах немало пыток и истязаний. 2 октября 1774 г. он сообщает своему другу Степану Ивановичу Тюменскому: «Пишу со слезами от радости, друг мой присный, что сподобил мя господь видеть родной мой край; много было горя, когда я находился в городе Тобольске». В тюремных подвалах Тобольского архиерейского дома, в кельях Знаменского монастыря закованных в колодки, притянутых цепями к стене узников в перерыве между пытками консисторские чины убеждали вернуться «в ограду» официальной церкви; отказавшиеся обратиться в православие погибали обычно довольно быстро, и следственные дела таких упрямцев заканчивались стереотипным приказанием митрополита — «загрести мертвые телеса» в овраге за городом тайно, без погребального обряда. Не удивительно, что обращения узников в православие при таких условиях были частым явлением.

Но Галанина не удалось ни сломить, ни замучить. Много позднее, в 1784 г., во время новых духовно-полицейских «увещеваний» обратиться в православие, Мирон Иванович не без гордости отвечал священникам, что оставался тверд и в более тяжелых испытаниях: «И голова де уже моя на плахе была, и кнутом бит неоднократно, и руки в хомуте были, и рога на шее носил, и в книги ваши росписи духовные (православных прихожан.— *Н. П.*) меня не пишите».

Гордо и стойко перенесший все муки крестьянин пользовался в Ялуторовском уезде огромным влиянием и умело использовал свой нелегко добытый престиж мученика. Уже через несколько лет после возвращения Галанина на родину Тобольская консистория и синод убедились, какую дорогую цену официальной церкви придется уплатить за традиционно-полицейское завершение диспута о вере с Галаниным в 1754 г. и его последующие многолетние мучения. Весь свой большой авторитет Мирон Галанин, действуя вместе со своими друзьями Сергеем Софоновым, Елизаром Печерским и Михаилом Девяше-

вым, направил в 1782 г. на поддержку и активизацию, пожалуй, наиболее массового из антицерковных выступлений западносибирских крестьян в XVIII в.

Осенью 1783 г. священник Василий Машенов и дьячок Захар Вавилов обнаружили в деревне Курсановой в Зауралье одну из крестьянских сходок, проводимых Мироном Галаниным. В доносе они так описывали ее: «Помянутой дьячок Вавилов, пришед к дому крестьянина Мирона Галанина, и услышал у ево избы, что он говорит голосно и... не входя в ызбу, отодвинул притвор окошка, и увидел, что он, Галанин, середи избы на стуле сидит и книгу в руках держит, которую, слышно, и читал, только понять с науличья не можно было. На что он, Вавилов, спросил ево, Галанина: „Чему ты учишь?" И Галанин-де, свернувши книгу ту, спрятал ее за пазуху и ему не показал, и в то время было у него, Галанина, людей в избе на пример человек з двадцать иль тридцать мужеска и женска пола, и он-де, Галанин, видно явной лжеучитель». Другие подобные встречи Мирона Галанина и его друзей с церковнослужителями заканчивались и более остро. Однажды крестьяне даже пригрозили применить огнестрельное оружие, причем С. Софонов для вящей убедительности «вынес три пистолета, в кои насыпал пороху, и, прибив пыжем, в окно стрелял раза три». Когда в другой раз клирики попытались превратить увещевательную беседу в настоящий допрос, тот же С. Сафонов «начал злобиться и поносить весь духовный чин, а дьякона Андреева матерною скверною бранью ругал и называл кобылою и повесою, и брал ево, дьякона, за ворот и тряс и говоря дьякону, что я де тебе засвечю — то есть ударю — от которого ты растаешь».

Страстная агитация Мирона Галанина и других крестьянских вожаков происходила в момент бурного подъема широкого антицерковного движения зауральских крестьян. Движение было спровоцировано руководством сибирской церкви, которое попыталось превратить уступки просветительского курса правительства Екатерины II в религиозной сфере в нечто прямо противоположное, в очередной государственный нажим на старообрядцев. Несколько тысяч ялуторовских крестьян, охваченных этим движением протеста, оформляли свой выход из православных приходов, демонстрировали на каждом шагу свою враждебность к официальной церкви и ее служителям, отказывались от уплаты всех налогов и поборов в пользу церкви и духовенства. Делом этим пришлось заниматься не только синоду, но и сенату. Положение сибирского духовенства осложнялось запутанными просветительскими прожектами екатерининского вельможи, героя Хотина Е. П. Кашкина, генерал-губернатора пермского и тобольского. Светские власти сначала колебались, не желая обострять положение и справедливо

опасаясь новых самосожжений в ответ на репрессии. В конце концов они все же уступили церковникам и санкционировали проведение экзекуций военно-карательными экспедициями, пойдя одновременно на некоторые уступки старообрядчеству. Мирон Галанин и его друзья опять попали под арест, длительность которого нам неизвестна.

В конце XVIII—начале XIX в. Мирон Иванович Галанин— руководитель наиболее радикального, наиболее враждебного официальной церкви ирюмского крестьянского центра старообрядчества. Он занимается активной организаторской и публицистической деятельностью, отстаивая свою позицию, борясь против умеренных, соглашательских направлений в часовенном согласии, ориентирующихся не на крестьянский радикализм, а на стремление екатеринбургских купцов нащупать соглашение с властью.

Умер М. И. Галанин в 1812 г.

Небольшая рукописная книжка из горного скриптория подарила нам неизвестного прежде писателя: организатор крестьянских выступлений Мирон Галанин хорошо владел пером. До 1970 г. нам были известны лишь выдержки из его обширного исторического сочинения, процитированные Нифонтом в «Родословии». Само это сочинение до сих пор еще не найдено. Но летний археографический сезон 1970 г. принес нам полный текст его послания к другу, Стефану Ивановичу Тюменскому, от 2 октября 1774 г. Навестив хозяина того же скриптория этим летом, мы обнаружили все в том же сборнике несколько дополнительных листов, исписанных его характерным беглым почерком. Они и содержали послание к Стефану Ивановичу Тюменскому (Степану Иванову).

Послание написано хорошим повествовательным слогом, язык его прост и близок подчас к разговорному, но абсолютно лишен характерных для многих старообрядческих авторов цветистых риторических украшений или тяжеловесных подражаний древнерусскому стилю. Вместе с тем это эмоциональный, страстный рассказ. М. И. Галанин умело сочетает собственные наблюдения с документальным материалом. Послание содержит яркое описание долгих лет его заточения в Тобольске, сообщает о других узниках тобольских церковных тюрем. Очень интересны упоминания о том, что в Тобольске, в Знаменском монастыре «находился первый наш подвижник и страдалец за истинную веру протопоп Аввакум». Сведения о жизни Аввакума в Тобольске и его ссылке на Лену Галанин заключает чрезвычайно любопытным указанием источника: «... много было жития Аввакумова выписано из архивы, записи сибирской истории, лист 119». Увы, нам сейчас неизвестен этот источник о жизни Аввакума в Тобольске, который видел М. И. Галанин. Через

несколько строк послания — новая ссылка на архив: «... если прочитать дела Тобольского архива», то можно узнать про «страшные и зверские попытки властей, как духовных, так и гражданских», уничтожить сибирское старообрядчество. Галанин приводит даты этих попыток; некоторые из них явно искажены при переписке, другие же соответствуют реальным датам гонений на урало-сибирских старообрядцев, которые действительно прослеживаются по делам архива Тобольской консистории.

Мысль о том, что узник, неоднократно подвергавшийся пыткам, мог так хорошо знать дела Тобольского консисторского архива, кажется невероятной. Однако приходится признать, что грамотному и смелому крестьянину это как-то удалось.

Галанин сообщает о законодательных мерах Елизаветы против раскола. Излишние в частном письме к человеку, хорошо знакомому с ее указами на практике, они необходимы Мирону Галанину в качестве составной части его повествования по истории преследования урало-сибирских старообрядцев; автор явно рассчитывал, что его послание к другу, как это нередко случалось, станет известно более широкому кругу единомышленников.

Царистские иллюзии сибирского крестьянства несомненно видны в этом послании, не предназначавшемся для правительственных глаз. Галанин глубоко благодарен Екатерине II за облегчение участи старообрядцев и собственное освобождение: «Настало время тишины, с воцарением императрицы Екатерины Второй в 1762 году нам дарована свобода». «И мне, грешному и недостойному, сподобил господь пользоваться милостию царицы Екатерины, и свободили меня на свободу из тобольских казематов монастырских, славить нужно всевышняго бога в молитвах и молиться за державную императрицу, за здравие ея». Следует, однако, внести здесь важные коррективы.

Прежде всего, славословия в адрес милостивой царицы Екатерины II (чаще именно царицы, а не императрицы — Галанин обычно не признавал императорского титула, что светские власти были склонны рассматривать как политическое преступление) сочетаются в послании с враждебным отношением к предыдущей царице — Елизавете, преследовавшей старообрядцев. «Боюся описывать, как с нами ... обращались властию престола царицы Елизаветы Петровны, какия строгия меры были приняты в 1744 году». Таким образом, царистские настроения крестьянства здесь уже обусловлены реальным отношением царской власти к последователям старой веры. В тех случаях, когда союз господствующей церкви и самодержавия принимает наиболее откровенные формы полицейских преследований противников церкви, старообрядческая оппозиция нико-

нианам неизбежно приводит и к осуждению «власти престола царицы». Более гибкая форма союза церкви и государства при Екатерине II опять возрождает у Галанина надежды на «милости царицы Екатерины».

Но отношение Галанина к императорской власти опять резко меняется, как только от имени этой власти начинают издаваться указы, гибельные для урало-сибирского старообрядчества. Галанин, конечно, встретил эти указы враждебно; церковные власти поспешили донести о сознательном неповиновении крестьянского бунтаря, гордо заявившего: «Я-де в етом (в вопросах религиозной совести.— *Н. П.*) государыне неподсуден и приказу ея не слушаю». Галанина тут же попытались объявить сумасшедшим, а когда это не получилось, арестовали за неповиновение императорской власти. Такова мотивированность царистских иллюзий сибирского крестьянина-старообрядца М. И. Галанина.

Его отношение к господствующей церкви было менее противоречиво — это ровная, однозначная ненависть. Она сквозит в каждой строке его послания, донесшего до нас страстное свидетельство очевидца и жертвы полицейских преследований церковников...

Недавно я с новой экспедиционной группой путешествовал по Зауралью. Уже вышли из печати первые работы об ирюмских крестьянских писателях. Под колесами нашего автобуса простучали доски деревянного мостика, переброшенного через небольшую речушку, воробью по колено. Я посмотрел на дорожный указатель и гордо возгласил: «Это и есть Ирюм!» Маршрут наш пролегал через родное село Мирона Ивановича. И стоило назвать его имя, как обнаружилось удивительное: один старик тут же принес из дома недавно переписанное им сочинение Галанина, другой объяснил, как пройти к его могиле.

* * *

Современником, соратником и соперником Мирона Ивановича Галанина был другой крестьянский писатель — Максим (около 1715—1783 гг.), беглый холоп, ставший позднее руководителем одного из самых влиятельных скитских центров урало-сибирских старообрядцев, известных своей умеренной позицией.

Умерший через пять лет после Максима, его последователь, уральский старообрядец Стахий Васильевич Кривоспицын составил биографию Максима, которая широко цитируется в нескольких сочинениях XIX в., обнаруженных нами все в том же первом сборнике, а также найденных в ходе последующих археографических экспедиций, новосибирских и свердловских. Одно обширное сочинение Максима было переписано владельцами скрипто-

рия в том же сборнике, другое мне удалось обнаружить в судебно-следственных делах синода. В материалах уральских соборов нашлось несколько упоминаний о Максиме.

В результате нам известно уже немало об этой необычной жизни, но остается еще много загадок и даже противоречий.

Максим не был русским, он происходил из мусульманской семьи. Известны случаи крещения в старообрядчество западносибирских татар — под влиянием пропаганды соседних крестьян-старообрядцев. Но случай с Максимом — особенный. Стахий Кривоспицын сообщает, что Максим был «родом от страны срацынския, агарянских родителей нарицаемых нагляских татар». Он был взят в плен русскими войсками еще малолетним, около 1724 г. Затем он стал слугой некоего господина Змеева. С. Кривоспицын не жалеет розовых красок, описывая, как любил хозяин своего слугу: у Змеева Михаил «проживал в совершенной его милости и по домашней экономии в полной доверенности». Однако он все же бежал от доброго господина. Биограф очень дипломатично описывает этот поступок своего героя: «Со старообрядцами от него, господина Змеева, отлучился». Отлучка эта продолжалась почти шесть десятков лет, до самой смерти холопа.

После долгих скитаний по «разным градским и пустынным местам» Михаил в 1729 г. добрался до Нижнетагильского завода, где беглые чувствовали тогда себя безопасно. Здесь он был принят известным священноиноком Иовом и через некоторое время пострижен под именем Максима. Принятие пострига из столь авторитетных рук сразу выдвинуло его. К тому же Максим не захотел оставаться одним из многочисленных иноков в Нижнем Тагиле, а ушел в 1731 г., после смерти Иова, в знаменитый скит Дионисия, расположенный тогда в лесах близ Черноисточенского завода. После смерти Дионисия он был избран его преемником. Именно из этого известного идеологического центра уральского старообрядчества вышли в XIX в. Валентин и Нифонт, создатели родословия часовенного старообрядчества.

В 1735 г. Василий Никитич Татищев, возглавлявший тогда уральское горное ведомство, предпринял попытку поимки обитателей уральских скитов; речь об этих событиях будет идти в следующей главе. Здесь же мы лишь укажем, что скит Дионисия — Максима счастливо избежал этой широкой татищевской «выгонки». Однако вскоре пришлось все же покидать насиженные места: то, что не удалось Татищеву, удалось каким-то местным разбойникам, беспокоившим обитателей скита своими частыми набегами. Максим с братиею поселился в самом Нижне-Тагильском заводе, где его скит на долгие годы

станет важнейшим центром старообрядческой пропаганды на Урале.

Одним из главных вопросов, волнующих в это время уральских старообрядцев — часовенных, был вопрос о приеме беглых никонианских попов. Это была обычная практика поповских направлений старообрядчества, но именно в это время на востоке страны она начинает встречать растущее сопротивление со стороны более радикально настроенных крестьянских масс. Для них даже такой контакт с антихристовой никонианской церковью — недопустимая уступка силам социального зла. Свой отказ от недавней практики приема беглых попов они внешне объясняли рассуждениями о том, что в последние годы в никонианских епархиях распространяется католическое обливательное крещение. За всеми этими спорами скрывалась растущая враждебность крестьянских старообрядческих общин к казенной церкви. Одним из активных выразителей этих настроений был Мирон Галанин. Максим возглавил в эти годы противоположную партию — сторонников более умеренного курса. В 1765 г. он отправляется из Нижнего Тагила в неблизкий путь — в Москву, с целью найти авторитетные аргументы в поддержку своей позиции. Какими-то таинственными путями он пробрался в московские церковные архивы. Там он нашел документы и некую летопись, на основании которых решил, что архиереи Грузинский и Рязанский не были крещены обливательно, и поэтому уральские старообрядцы могут принимать попов, бежавших из их епархий. Эта компромиссная позиция Максима имела некоторое распространение на Урале, пока, как мы говорили выше, не победила в 1840 г. точка зрения Мирона Галанина.

Такова жизнь холопа Максима, как нам ее рисует его биография и документы Тобольской консистории и синода. Однако неожиданно оказалось, что сведения эти противоречат самым сочинениям Максима, и в первую очередь его главному произведению, посвященному как раз критике приема беглых попов.

Сочинение это представляет собой собрание многочисленных выписок из священного писания, Кормчей, отцов церкви. Эти выписки сгруппированы в определенном тематическом порядке, сопровождаются комментарием — «Надсловием здравого разумения отца Максима»; ему же принадлежат обширное вступление и заключение, а также несколько связующих рассуждений. Все они написаны торжественным, тяжелым языком; фразы чрезвычайно длинные, придаточные предложения нанизываются одно на другое. Общий вывод Максима выражен достаточно категорично и недвусмысленно: лучше быть вообще без священников и церковных таинств, чем принимать их от

господствующей церкви; это «приятие не суть освещение, но паче осквернение, и не спасение души, но потемнение и погибель».

Так это и остается загадкой — резкое противоречие между практической деятельностью Максима и духом его сочинений. Вероятно, в жизни этого человека были неизвестные нам крутые повороты. Может быть, на один из них намекает недавняя находка свердловских археографов. Она свидетельствует, что на каком-то из соборов часовенных за прекращение приема священников от господствующей церкви вместе с Мироном Галаниным выступал некий Максим Кармацкий. Кармаки — арена действий и Мирона Галанина, и бывшего холопа Максима. Но, быть может, это какой-либо иной Максим. Ответа пока нет.

ГЛАВА 3

ИСТОРИОГРАФ ТАТИЩЕВ И УРАЛЬСКИЕ КЕРЖАКИ

После первого сборника крестьянских урало-сибирских сочинений, с которым мы знакомились в том горном скриптории, немало других подобных же сборников обнаружили на огромном пространстве востока страны, приобрели или скопировали археографы Новосибирска и Свердловска. В сочетании с архивными документами эти сборники рассказывают увлекательнейшие истории перипетий крестьянской борьбы против казенной веры и полицейского государства. Судьбы многих из крестьянских вожаков, подобно судьбам Мирона Галанина и холопа Максима, могли бы стать канвой остросюжетных рассказов. И почти во всех этих историях большую роль будут играть книги — сочинения самих крестьян, произведения прежних веков, бережно хранимые в крестьянских тайниках, внимательно читавшиеся в разгар самой яростной борьбы. Историки и филологи наших дней все больше и больше интересуются кругом чтения людей прошлых эпох, составом их библиотек. История, к которой мы сейчас приступаем, могла бы быть раскрыта как противостояние двух библиотечных каталогов, списков двух книжных собраний, принадлежавших главным противоборствующим персонажам этой истории. Один из них — знаменитый историограф, культурнейший человек своего времени, уральский горный начальник Василий Никитич Татищев. Другой — Родион Федорович Набатов, беглый крестьянин, рудознатец, демидовский приказчик, организатор широкой противоправительственной деятельности.

Каталог екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева, переданной им в 1737 г. городу, нашли молодые новосибирские исследователи И. А. Гузнер и Л. А. Ситников несколько лет назад. Интерес к этому документу был столь велик, что пока сибирские ученые готовили его издание, каталог успел издать в авторитетнейшем столичном ежегоднике московский исследователь В. С. Астраханский — историки спорили между собою за право издания каталога. И действительно, это замечательный документ эпохи. В нем числится 617 томов (571 название) на общую сумму 1039 рублей 39 копеек по ценам того времени. На русском языке только 54 тома, остальные книги изданы на разных языках в Англии, Австрии, Германии, Голландии, Польше, Швеции, Швейцарии, Франции. Кроме большого количества

книг по истории (146), в екатеринбургской библиотеке знаменитого историографа были книги по географии (32), грамматике (24), математике (19), медицине (10), военному делу (10).

В 1752 г. в руки церковных следователей попал составленный Родионом Набатовым в 1745 г. каталог 50 книг его библиотеки. Это традиционные для старообрядческой библиотеки книги: тексты священного писания, творения отцов церкви, богослужебные книги, полемические сочинения старообрядческих писателей. Но в его библиотеке есть уже и несколько светских книг. Наряду с каким-то «Описанием Рима с пределы» мы видим здесь книгу, имеющуюся и в библиотеке Татищева: «Ифика и иерополитика и философия нравоучителная»,— составленное в кругах, близких к Киевской академии, наставление о воспитании юношества. Среди русских книг библиотеки В. Н. Татищева мы находим какое-то «Киевское деяние» — по всей видимости, сочиненная церковью в начале XVIII в. антистарообрядческая фальшивка «Деяние на Мартина еретика» Киевского собора 1157 г. Фальшивка эта была блестяще разоблачена старообрядческими поморскими палеографами, руководителями Выговской пустыни братьями Денисовыми, и это разоблачение по праву считается началом русской научной палеографии, подобно тому как «История Российская» В. Н. Татищева — началом русской исторической науки. В библиотеке Набатова имелась запрещенная церковью рукопись сочинения Денисовых с этим разоблачением — «Поморские ответы».

В библиотеке В. Н. Татищева немало естественнонаучных книг, в том числе трактат Уилкинса «В защиту Коперника». Родион Набатов, в жизни которого такую большую роль играла удача рудознатца, счастье строителя, риск заговорщика, держал в своей библиотеке популярное тогда руководство по магии Раймунда Люллия.

Две культуры противостоят друг другу в этих каталогах, два мира — допетровской Руси и послепетровской. И тем интереснее отметить причудливую логику истории: оба эти человека, боровшиеся друг с другом, во многом делали общее дело. Разными путями и с разных сторон развивали они уральскую промышленность, искали руды и строили рудники, способствовали развитию торговли. Все это двигало старую феодальную Россию по новым буржуазным путям. Подчас логика истории в деятельности этих двух людей приобретает даже «перевернутый» вид. «Птенец гнезда Петрова» Василий Никитич, всячески содействуя развитию горнозаводского Урала, стремится в то же время поставить это развитие в строгие рамки законодательства русского регулярного государства. Будучи сам помещиком рачительным и экономным, он, естественно, не любил крестьянского побега и поддерживал всей душою суровое законодатель-

ство против беглых. Когда он прибыл на Урал, то обнаружил, что леса близ демидовских и осокинских заводов наполнены тысячами беглых. Борьба Татищева с этим явным непорядком лишала уральские заводы своеобразного, но широкого рынка вольнонаемного труда, способствовала укреплению на Урале ретроградных принципов крепостной мануфактуры. А борьба Родиона Набатова с суровым историографом оборачивалась,

В. Н. Татищев

таким образом, борьбой за более передовую, буржуазную промышленность Урала.

Содержание нашей истории как раз и составляет их столкновение вокруг вопроса о беглых, которые в большинстве своем были старообрядцами, беглецами с недавно разгромленного правительством Петра I Керженца.

23 марта 1734 г. действительный тайный советник Василий Никитич Татищев был назначен начальником всего Уралосибирского горнозаводского округа, причем в императорской

инструкции при его назначении было записано категорическое требование: строго следить за частными заводчиками, чтобы они «беглых крестьян не приманивали и не держали» и «чтоб пришлые из русских городов ни под каким именем как при казенных, так и при партикулярных заводах не селились и на житье не оставались». Уже первые активные мероприятия В. Н. Татищева по выполнению этой инструкции крайне обеспокоили заводчиков и их приказчиков. Последние попытались было вернуть старые блаженные времена при помощи испытанного средства — взятки.

Но момент был неудачным. Как раз перед своим назначением в Екатеринбург Василий Никитич имел веский повод пожалеть о былой своей откровенности, когда он искренне доказывал самому августейшему преобразователю России, что разумная взятка поощряет полезное для государства служебное рвение взяткополучателя. Уже при Анне Иоанновне разоблачение соответствующих этой теории действий начальника Монетного двора В. Н. Татищева грозило ему немалыми неприятностями. Императрица, правда, замяла дело, памятуя о заслугах Татищева во время борьбы при ее восшествии на престол. Однако Татищев получил не оправдание, а лишь помилование. В Екатеринбурге он демонстрировал свою неподкупность. Верхушка екатеринбургского старообрядчества была поражена невероятным известием, что новый сановник отказался принять традиционное подношение в тысячу рублей. Успокоительная интерпретация происшедшего — будто неувязка произошла лишь из-за цены — рухнула уже на следующий день, когда Татищев отказался и от удвоенной взятки. Не помогли искренние разъяснения, что такса именно такова, что именно столько брал его предшественник. Уральские старообрядцы поняли, что надо готовиться к крупным неприятностям.

Вот как это описывал сам Василий Никитич в письме к всесильному графу Андрею Ивановичу Остерману, рассчитывая, конечно, на то, что императрице станет известно о его бескорыстии: «О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать, и хотя я думал, что их душ 1000 либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3 тысяч будет. От оных приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1000 рублей, и хотя при том никакой просьбы не представлял, а однако ж я мог вырозуметь, чтоб я с ними так же поступил, как и прежние; я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. Назавтра пришел паки, да с ним Осокиных приказчик Набатов и принес другую тысячу; но я им сказал, что ни десяти не возьму, понеже то было против моей присяги. Но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них

не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я, опасаясь, чтоб никакого вреда не учинять, обещал им оныя принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил».

В такой примечательной обстановке произошла первая встреча начальника Сибирских и Казанских заводов с двумя влиятельнейшими приказчиками, которым суждено было сыграть немалую роль в описываемых нами событиях.

Они были друзьями, и в судьбе их было немало сходного. Оба были беглыми. Родион Федорович Набатов происходил из семьи крепостных крестьян Троице-Сергиевской лавры, еще в ранней юности бежал на Урал, в скитаниях стал постепенно умелым рудознатцем, услугами которого с немалой выгодой пользовались Петр Осокин и Акинфий Демидов. Он открыл несколько месторождений железных и медных руд, «построил и в действие произвел» известный Иргинский завод, осокинские соляные промыслы в Кунгурском уезде. Он находился в близких отношениях с семейством Осокиных; когда позднее сын Петра Осокина Михаил пошел на немалый риск, открыто перейдя из православия в старообрядчество, Родион Набатов играл в этом деле активнейшую роль, что в конце концов стоило ему свободы и жизни. Родион Набатов пользовался доверенностью и Акинфия Демидова, несколько раз занимал на его уральских заводах высокие административные посты, управлял от имени Демидова Колывано-Воскресенскими заводами. Его административная деятельность часто была связана с дальними разъездами не только по Сибири и Уралу. Например, незадолго до вышеописанного разговора с В. Н. Татищевым он вернулся из служебной поездки в Петербург. Набатов использовал эти поездки как для торговли, так и для связи со многими старообрядческими деятелями.

На окраине Нижнего Тагила Родиону Набатову принадлежал хорошо известный лесным пустынникам и беглым крестьянам обширный двор, где под самым носом властей тайно расположился старообрядческий монастырек, укрепленный «с великою крепостию» — предосторожность эта оказалась не лишней.

Иван Степанов сын Осенев был из ясашных крестьян Казанской губернии. В 1714 г. он вместе с отцом бежал в Хохломскую волость, а когда их и там настиг подушный склад, они в 1723 г. передвинулись еще дальше, на екатеринбургские заводы. Дав изрядную взятку предшественнику Татищева Геннину, они легализовали свое положение в Екатеринбурге. На новом месте Иван Осенев стал успешно заниматься торговыми делами, он быстро стал вести крупные торговые операции не только от своего имени, но и от имени заводчиков Осокина и Демидова, принимал участие в заводских делах. Перед выше-

описанной беседой с Василием Никитичем он вернулся из торговой поездки в Москву. К этому времени он был владельцем двух дворов в Екатеринбурге и одного при Шайтанском заводе. В каждом дворе стояло три-четыре жилых и несколько хозяйственных построек. Мать Осенева Агафья Кондратьевна происходила из семьи поморских крестьян-старообрядцев и сохраняла тесную связь с известными центрами старообрядчества в Поморье и на Керженце. Им принадлежало несколько купленных ими дворовых людей, однако отношения с ними были у Осеневых куда сложнее, чем у обычных холоповладельцев. Так, например, «купленной в Питербурге чюхонской породы Петр Стефанов», значившийся холопом И. Осенева, был видным старообрядческим деятелем, который связывал его с крупным центром поморского старообрядчества в деревне Таватуйской. (Недавно свердловские коллеги открыли несколько крестьянских сочинений о деятельности этого центра.)

Дом Осенева при Шайтанском заводе был полной чашей — шесть лошадей, три коровы, огород, двое саней, два ковра и т. д.; одних предметов столовой и кухонной утвари опись 1736 г. насчитала 108. Были там и церковные книги, в том числе учебные. Осеневу принадлежали три лавки, несколько кораблей. Его торговые операции охватывали Урал и Зауралье, Западную Сибирь, обе столицы. Отправляясь вскоре в Тобольск для нелегальной операции по освобождению беглых старообрядцев, Осенев прихватил с собой большую партию товара, за которую выручил в сибирской столице 1300 рублей.

И Осенев и Набатов вели жизнь деятельную и подвижную. Успехи в торговле, в горнозаводском деле позволили им вырваться из рутинного сельскохозяйственного быта крестьянской семьи, приобрести немалые капиталы и вместе с ними положение на заводах. Но это были успехи полулегальные, юридически они были беглыми крестьянами. Хотя Осенев был мягче, податливее своего друга, им обоим часто приходилось смело преступать рамки закона даже в делах торговых и заводских, не говоря уже о старообрядческих. Пробившись в торгово-промышленную верхушку старообрядчества, они по своему новому положению, естественно, тяготели к более умеренному, компромиссному курсу в отношениях старообрядцев с властями. Но они как по происхождению, так и по характеру своих связей, по неустойчивости своего положения, были еще близки к крестьянской среде, могли успешно действовать в ней, лично знали видных руководителей крестьянского радикального старообрядчества. Среди этих последних важную роль играл очередной персонаж нашей истории, влиятельный уральский деятель Елисей Яковлев сын Поляков (старец Ефрем).

Он происходил из семьи дворцовых крестьян села Данилова

Костромского уезда. Еще юношей он убежал из своей деревни, лет десять портняжничал в Москве, затем укрывался в тайных убежищах беглых крестьян за рекой Угрой, в Вяземских лесах. Здесь он провел более 20 лет, стал бродячим старообрядческим чернецом и постепенно приобрел большое влияние на таких же, как он, беглых крестьян, в немалом количестве скрывавшихся в соседних лесах. Однако какие-то неизвестные нам события заставили Ефрема срочно искать более удаленные от властей места — он бежит в Хлыновские леса, а оттуда — на Урал. Ко времени появления здесь Татищева он является уже одним из главных руководителей урало-сибирских крестьян-старообрядцев. И в потаенных лесных скитах, и на заводах, и в крестьянских домах, и в купеческих особняках Урала и Западной Сибири его имя значило немало. И конечно, не случайно получилось так, что бурные татищевские действия по ликвидации тайных убежищ беглых крестьян окончились для Ефрема с минимальными потерями: его истинное положение и даже монашеский чин удалось скрыть от возглавлявшего одну из военных команд поручика К. Брандта. Он, как обычный беглый крестьянин, был лишь положен в подушный склад при заводах.

А между тем татищевская акция была организована масштабно. На основании сенатского указа военные команды прочесывали уральские леса, находили и сжигали десятки тайных убежищ беглецов, выгоняли из леса их обитателей. В результате этой выгонки тысячи беглых крестьян подлежали возвращению их помещикам, около 500 наиболее упорных старообрядцев были разосланы по монастырским тюрьмам Сибири. И все-таки татищевская акция провалилась. Большинство высланных на старое местожительство до своих крепостных деревень не доехали и исчезли. Оставленные на Урале и обложенные там феодальной рентой также не стали тянуть тягло и бежали. Серия дерзких побегов заключенных старообрядцев из сибирских монастырей привела к тому, что из полутысячи арестованных лишь единицы остались под арестом. Это особенно рассердило Татищева. По его требованию для расследования обстоятельств побегов была назначена специальная сенатская комиссия советника Батурина. Ее материалы показывают, как сравнительно небольшая группа влиятельных старообрядцев, пользуясь поддержкой сибирских и уральских крестьян, казаков, солдат и демидовских приказчиков, сумела в обстановке ведомственных разногласий внутри бюрократической машины организовать и осуществить массовые побеги арестованных. Разгромленные убежища беглецов быстро заполнились вновь. Уже через несколько месяцев после выгонки военная команда прапорщика Соловьева обнаружила за пять дней близ Черноисточенского завода 18 новых «пустынь».

Одним из главных организаторов этих массовых побегов был старец Ефрем. В мае 1736 г. Ефрем, получив у демидовской администрации ложные документы для поездки в Тобольск, оказался в сибирской столице, где был немедленно принят с честью в демидовской резиденции. К его услугам были предоставлены не только покои, удобные для жилья и ведения переговоров весьма доверительного характера, но и несколько старообрядцев, постоянно живших в этой резиденции и деятельно помогавших Ефрему в его планах. К этому времени в Тобольске несколько человек уже занимались успешной организацией побегов старообрядцев, отправленных в сибирские тюрьмы. В частности, четко организовывал такие побеги приехавший уже в Тобольск из Екатеринбурга Иван Осенев. В середине мая 1736 г. в тобольской резиденции Демидовых старец Ефрем тайно организовал важную встречу. Из полковой гауптвахты караульный солдат привел к нему двух содержавшихся там под арестом раскольниц, в том числе двоюродную сестру Ефрема Евпраксию. Визит из тюрьмы в частные дома был обычным для колодничьих нравов тех лет делом — колодники кормились в основном за счет частной благотворительности и милосердия обывателей, для возбуждения коих арестованных регулярно водили под караулом по домам, рынкам, даже кабакам; пользоваться подобными ситуациями для побега тюремная этика запрещала, ибо это значило оставить других колодников без хлеба. Беглую крестьянку Евпраксию должны были вернуть на родину, в Костромской уезд. По слезной ее просьбе Ефрем пообещал устроить ей побег. Был разработан смелый и необычный план. Евпраксию содержали тогда в гарнизонной тюрьме, побег оттуда казался невозможным. Ефрем предложил Евпраксии, «чтоб де она ни пила, не ела семь дней или более, и умерла бы притворно, и повезут ее в убогой дом», откуда друзья Ефрема доставят ее на демидовское подворье. Евпраксия в страхе отвечала, что боится умереть на самом деле, на что Ефрем сказал: «Когда умрешь, то бог с тобой, а буде оживешь, то де мы тебя не оставим».

21 мая 1736 г. тобольский полковой врач свидетельствовал, что «в заутренной благовест содержащаяся на полковом бекете колодница из стариц Еупраксея Егорова волею божиею умре и положена была во гроб». Обмывали и клали в гроб ее три колодницы (тоже из арестованных стариц), якобы не заметившие ничего подозрительного. Жалкая кляча поволокла тело, положенное в дешевый растрескавшийся гроб, в «убогий дом», откуда ее должны были затем увезти за город, чтобы «загрести» без православного погребения. Клячу погонял мужичонка в рваной одежде. Это был один из богатейших граждан Екатеринбурга Иван Осенев; он и присмотрел треснутый гроб, чтобы

бывшая в глубоком обмороке Евпраксия не задохнулась в нем. До «убогого дома» их сопровождал солдат. Когда он ушел, Осенев, оставшись в «убогом доме» с гробом один, вынул из него Евпраксию. Сначала ему показалось, что она и впрямь умерла. Однако энергичные меры Осенева вернули ее к жизни. Он нарядил ее в хорошую мужскую одежду («в серой кафтан да в комзол в суконной коришневой») и повел вдоль берега Иртыша к демидовскому дому. Но по дороге, в прибрежном лесу, Евпраксия ослабела настолько, что Осенев вынужден был оставить ее под деревом и пойти домой за лошадью. Но тут случилось непредвиденное. Когда Иван Осенев вскоре вернулся с лошадью, он не нашел Евпраксии на месте. Следы на снегу говорили о недобром. Осенев поспешил уйти подальше от опасного места, но внезапно был схвачен солдатами.

Дело в том, что за время недолгого отсутствия Осенева, потерявшую опять сознание Евпраксию случайно обнаружили драгун Андрей Романов и школьник Тобольского полка Никифор Лебедев, гулявшие вдоль Иртыша. Совсем недавно они, оказывается, были свидетелями притворного «умертвия» Евпраксии. Увидев усопшую воскресшей, да еще в мужской одежде, они сначала изрядно испугались, но потом стали искать рационального объяснения увиденного. Издали заметив спешащего к Евпраксии с лошадью Осенева, они все поняли и решили выслужиться. Осенев не заметил засады.

После четырех дней страшных пыток, допросов, очных ставок, Евпраксия и Осенев выдали Ефрема. 25 мая он был арестован. Теперь уже начальство знало, кто к ним попал. Да Ефрем и не скрывал этого. В день своего ареста после первых допросов в Сибирской губернской канцелярии он направил «Антонию, митрополиту тобольской и сибирской духовности» (само это обращение оскорбительно!) яростное послание.

Среди многих крестьянских произведений протеста этот замечательный документ стойкости человеческого духа не может затеряться. Он начинается спокойным и уверенным поучением, в котором старец Ефрем преподает митрополиту Антонию основы христианской догматики и обличает никоновские нововведения. Арестованный на память цитирует при этом многие популярные в старообрядческой полемической литературе сочинения — «Стоглав», «Большой катехизис», творения Максима Грека, «Книгу Кирилла Иерусалимского», «Поморские ответы». «В том стоим и умерети хотим»,— гордо завершает Ефрем изложение своего символа веры и переходит к бичеванию взглядов и поведения никонианского духовенства. Он завершает это осуждение категорическим проклятием всей господствующей церкви: «И единомысленных ему, Никону, проклинаем и отрицаемся и церковь тую неправославну нарицаем».

Затем Ефрем переходит к доказательству опаснейшего тезиса, что это проклятие относится в первую очередь к святейшему синоду. Он обличает пытошную практику синодальных расследований, остро критикует изданные синодом книги, направленные против старообрядцев; вслед за Денисовыми он издевается над попыткой церкви сфабриковать в борьбе со старообрядцами подложное «Соборное деяние на Мартина еретика». Итогом всего этого критического обзора является энергичное заявление Ефрема: «И то ложное все показание и неправое ваше мудрование не приемлем, и проклинаем, и анафема».

Антоний отправил это письмо в Синод, который решил, что «злолаятельное письмо» Ефрема это уже дело политическое и передал все следствие в страшную Канцелярию Тайных розыскных дел. Зловещий шеф этого ведомства Андрей Иванович Ушаков, перед которым трепетали вельможи и сановники, отправил в Тобольск строгое приказание допросить всех замешанных в деле для выяснения следующего: «В написании оного злолаятельного письма другие кто имянно со оным Ефремом и с сестрою его Евпраксиею согласники имеются, и в каковом подлинно намерении, и чего ради такое злолаятельное письмо они сочиняли, и чрез то свое письмо чему быть они надеялись, и много ли таких или других каковых злолаятельных писем у них сочиняемо было, и где, и куда имянно их употребляли и чрез кого».

Одновременно зловещее ведомство А. И. Ушакова сообщило в Тобольск, что независимо от исхода этого большого следствия старец Ефрем уже вполне заслужил, чтобы его, публично наказав кнутом и вырезав ему ноздри, сослали «в каторжную или на казенные железныя заводы в работу вечно». Канцелярия рекомендовала чрезвычайные меры для охраны старца Ефрема. Однако этот полезный совет несколько запоздал.

В августе он пытался подкупить караульного ефрейтора, чтобы тот помог ему бежать, но ефрейтор сообщил об этом начальству, и режим содержания Ефрема еще ужесточили: к нему приставили специальных караульных, которые стерегли его одного, не отходя от него ни на шаг, всем остальным солдатам было запрещено даже приближаться к нему. Но постепенно Ефрем смог завоевать расположение нескольких караульных — экстраординарные меры по охране Ефрема внушали солдатам уважение к нему. Один из них, гобоист Евдоким Михайлов, пошел, наконец, на риск передачи писем Ефрема на волю. Так Ефрему удалось установить контакт с Родионом Набатовым, который после ареста Ефрема срочно прибыл в Тобольск и все это время безуспешно пытался помочь ему. Через некоторое время Родион сумел даже тайно встретиться с Иваном Осеневым. Эта беседа двух старых друзей была на

редкость интересной для историков, исследующих сейчас общие судьбы русских толстосумов из крестьян в XVIII в.

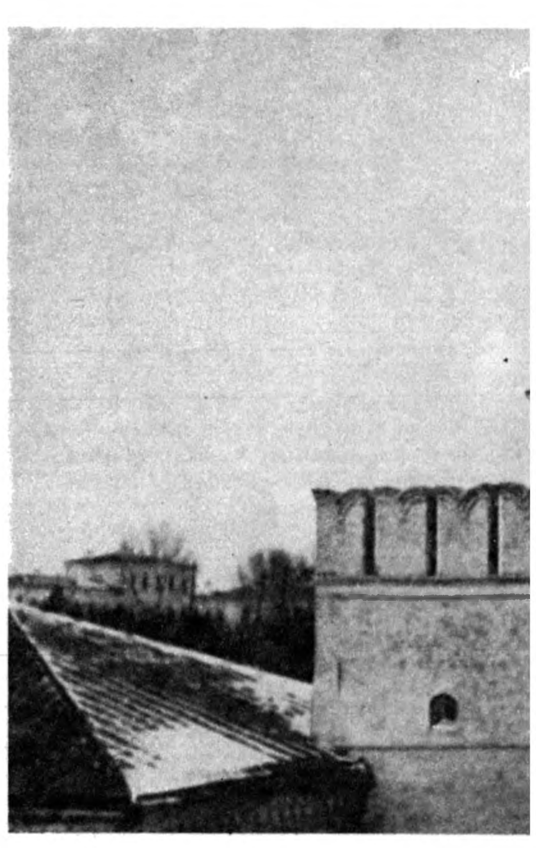
Акинфию Демидову и Петру Осокину не раз приходилось вызволять своих приказчиков из всяческих неприятностей, но это вовсе не значит, что друзья — влиятельные приказчики и богатые торговцы — сами искали конфликтов с властями. Как раз наоборот. В урало-сибирском старообрядчестве в середине 30-х гг. они возглавляли наиболее умеренное течение, активно пытавшееся нащупать тогда какой-то компромисс с государством. Совсем недавно, в сентябре 1735 г., группа приказчиков уральских заводов во главе с Р. Набатовым и И. Осеневым подала на «высокоматернее имя» «всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Анны Иоановны, самодержицы всероссийской» челобитную с проектом примирения старообрядчества и господствующего православия. Но правительство Бирона не имело достаточной гибкости и желания для компромисса, склоняющего на сторону властей богатую торгово-промышленную верхушку старообрядчества; лишь при Екатерине II будет сделана такая попытка, да и то очень робкая. А в 1735 г. единственным ответом на челобитную было продолжение татищевского сыска. И логика развертывания дальнейших событий вокруг этого сыска опять толкнула обоих видных приказчиков на путь острой борьбы с властями.

Вот они и встретились в тобольском доме Родиона Набатова. Немалых денег стоило организовать эту тайную встречу, уломать конвойных доставить сюда на часок осокинского приказчика, побывавшего уже в застенке. И вот конвойные вышли, поверив слову колодника, что он не убежит. Иван и Родион остались одни. Два влиятельных и далеко не безрассудно авантюрных человека, явно дороживших с немалым трудом завоеванным положением на Урале, обсуждают, как им перехитрить саму Канцелярию Тайных розыскных дел и похитить старца Ефрема. За последние месяцы оба организовали уже немало побегов, но этот случай исключительный. Успех задуманного ухудшит и без того отчаянное положение Ивана, будет стоить свободы Родиону. Но выдавший однажды под пыткой Ефрема Иван Осенев теперь всячески способствует его побегу — сообщает Родиону важные подробности охраны темниц Тобольского кремля, где заточен Ефрем. В конце беседы Осенев заговаривает об организации собственного побега — во время обыска на одном из его кораблей нашли незаконный груз пороха и ему грозит вечная каторга. Но оба понимают, что побег Осенева изрядно осложнил бы главное дело, и Осенев возвращается в тюрьму, оставив мысль о собственном побеге.

Освобождение Ефрема Родион готовит тщательно и всесторонне. Основное внимание он уделяет организации многократно

дублированной сети тайников, где бы Ефрем смог укрыться после побега. В условиях, когда по уральским лесам все еще рыскают воинские команды в поисках беглых крестьян, обычные лесные убежища Родион считает ненадежными и предпочитает им дома верных людей в крупных сибирских селах и даже городах. Сотни рублей рассылаются им в разные места Западной Сибири и Урала. Но еще надежнее те убежища, которые не

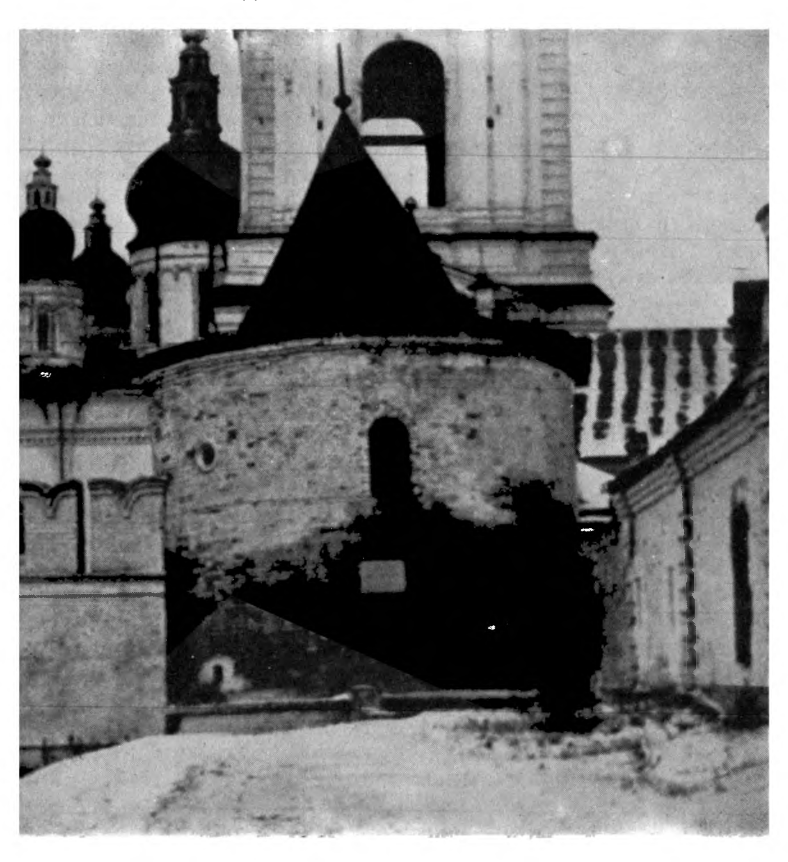
«В стене Тобольского кремля близ Павлиньей башни сохранилась доныне узкая бойница...»



стоили Родиону ни рубля — их хозяева знают, кого им предстоит укрывать и готовы все сделать для него.

Подготовка занимает около трех месяцев. Наконец, все готово. На нескольких вариантах маршрута Ефрема ждут сменные лошади. Первые сани будут стоять под самыми стенами Тобольского кремля. Остается самое рискованное —

подготовить все внутри этих стен. Здесь надо все увидеть и рассчитать самому. И Родион проникает в кремль, проникает в тюрьму, говорит с Ефремом и сообщает ему все детали и дату побега. Затем, накануне побега, он уезжает «по заводским делам» подальше от Тобольска — на Алтай. Он ведь знает, что завтра же любой из нескольких подкупленных им солдат сможет назвать под пыткой его имя.



19 декабря в 11 часов ночи старца Ефрема ведут по тюремному двору назад в камеру. «Почему-то» с него сняты ножные кандалы, оставлены лишь ручные. Сопровождает его только один караульный — солдат Кочешев. Они останавливаются у кремлевской стены близ Павлиньей башни. Здесь в стене сохранилась доныне узкая бойница, обычно забитая

ставнями, которые кто-то снял в ту ночь. Впоследствии Кочешев на жесточайших пытках, вися на дыбе, утверждал, что ничего не знал о побеге; он так и умер на пытке, настаивая на своем. Согласно его версии, он лишь ненадолго отвернулся «для мочения», и вдруг заметил, что Ефрем исчез. Шестидесятилетний старец в ручных кандалах выбросился в бойницу. Ефрем скатился с 50-метрового заснеженного холма, на вершине которого высятся стены Тобольского кремля. Внизу его с санями ждал тюменский казак Петр Зубарев, который тут же отвез его к себе домой (за это он получил от Родиона 12 рублей). Затем Ефрема две недели скрывал в подполе своего дома в соседней деревне казачий атаман Федор Иванов сын Корнилов. Потом тюменский ямщик Мирон Ергаков отвез его в Тюмень и укрывал в своем доме. Оттуда его перевезли на Урал и прятали под самым носом у Татищева, в Невьянске, у заводских жителей Старостиных. Тем временем многочисленные военные команды безуспешно разыскивали Ефрема в далеких лесных пустынях Урала и Западной Сибири.

Тайная канцелярия, еще не подозревающая о побеге из-за дальности расстояния, шлет очередное грозное напоминание в Тобольск накрепко стеречь зловредного автора «лаятельного письма». Тобольские власти с запоздалой активностью рассылают во все стороны воинские команды, старик Акинфий Демидов громко жалуется самой императрице на притеснения этих команд, которые кое-где уже привели к традиционным старообрядческим протестам в форме самосожжения. Татищев в свою очередь пишет в гневе жалобу в сенат на самого сибирского губернатора Бутурлина, якобы потворствующего опасным врагам престола. А Ефрем Сибиряк тем временем отсиживается на Невьянском заводе, затем в монастырьке Р. Набатова на Нижне-Тагильском заводе, где его чуть было не захватила военная команда, спасли лишь укрепления и тайные выходы. Через несколько месяцев Ефрем считает уже возможным перекочевать в традиционные лесные убежища по рекам Сылве, Обве, Буте. Здесь, в январе 1738 г., под самым носом у команды подполковника Мазовского, он даже проводит на заимке какого-то токаря Никифора довольно-таки представительный «съезд великий» руководителей крестьянских старообрядческих общин.

Осталось рассказать немногое. Родион Набатов был все же арестован на Алтае и доставлен в Тобольск. Но здесь в его судьбу опять весомо вмешался Акинфий Демидов. Неизвестно, кого и какими аргументами он убеждал, но Сибирская губернская канцелярия вдруг «по ошибке» выпустила Родиона на поруки, а в 1741 г. его «по ошибке» подвели под действие амнистии, на старообрядцев отнюдь не распространявшейся.

На всякий случай заводчик Петр Осокин разработал другой

вариант освобождения Родиона. В 1741 г. он подал императрице Елизавете прошение, где доказывал, что арест такого специалиста наносит заводам и казне немалый ущерб. Кроме того, он заявлял, что Родион задолжал ему огромную сумму — 1000 рублей и требовал выдать ему Родиона для отработки долга. Во всяком случае Р. Набатов после этого работал у Осокиных и у Демидовых, какое-то время даже фактически управлял Алтайскими заводами Демидова, пока в 1752 г. не был арестован сразу по нескольким довольно громким делам. Сначала думали вернуть его законному хозяину — Троице-Сергиевскому монастырю, потом передумали и уморили в синодальных застенках.

Ивана Осенева перевели было на каторжные работы в Екатеринбург, но синод опротестовал это, и его вернули в Тобольскую тюрьму для нового следствия, которое тянулось очень долго и завершилось характерным решением синода: содержать И. Осенева «под крепким арестом в тягчайших работах без всякого послабления» бессрочно — впредь до его обращения в православие. Через полгода после этого решения И. Осенев согласился написать формулу православного символа веры и отречения от раскола и был принят в лоно официальной церкви. Спустя еще полгода его отдали на поруки брату Якову. И. Осенев продолжал вести торговые дела, но в 1750 г. Яков донес на него, а заодно и на свою мать, что они занимаются распространением раскола и что обращение Ивана в православие было притворным. Завертелось колесо нового следствия, в которое были втянуты мать и жена Ивана, его дворовые; сам он попытался убежать от следствия, но был схвачен и доставлен в Тобольск. И. Осенев купил свободу ценою вторичного притворного обращения в православие. Но в эти же дни на западных рубежах страны власти захватили при попытке контрабандного вывоза большую партию «заповедного товара» — ревеня. Вскрылись многотысячные операции Осенева по незаконной покупке ревеня у контайшинских купцов и транспортировке контрабанды через всю Европейскую Россию. И. Осенев отправил самой императрице Елизавете на редкость красочное покаяние и сенат амнистировал его.

Евпраксия много лет пробыла в заточении и лишь в конце 40-х гг. была «по ошибке» отдана на поруки в Екатеринбург.

Старца Ефрема так и не поймали[1].

[1] На один из моих рассказов о сибиряках XVIII в. откликнулась жительница уральского села Чусовое М. В. Мезенина. Она сообщила, что последние годы жизни Ефрем Сибиряк провел в лесу близ их села. Над его могилой на сельском кладбище крестьяне соорудили часовню, к которой ежегодно в конце июня собиралось немало людей почтить память человека, бросившего в XVIII в. смелый вызов насильникам.

ГЛАВА 4

МАКСИМ ГРЕК

Находка рукописей со списками сочинений крестьянских писателей Урала и Сибири, живших в XVIII в., была для нас интересной и приятной неожиданностью. Но ехали мы в первую очередь все же не за ними, а за памятниками древнерусской письменности и печати, созданными еще до церковной реформы Никона и возникновения старообрядчества, т. е. до середины XVII в.

Убегая от преследований церкви и государства на далекие восточные окраины, старообрядцы среди самого дорогого имущества брали с собою древние книги. Древность была синонимом правильности, авторитетности. Гарантией отсутствия ненавистных «новин». Новые времена несли новые тяготы; золотой век справедливости, достатка, благочестия привычно виделся в седой старине. В таких воззрениях немало традиционного крестьянского консерватизма. Но они же помогли сберечь бесценные сокровища русской национальной культуры, в том числе — уникальные памятники нашей древней живописи, письменности, печати. Хранение древних книг жесточайше преследовалось, особенно при царевне Софье. Да и позднее целеустремленных губителей старины было предостаточно. Но чем суровее наказывали раскольников за хранение дониконовских древностей, тем изобретательнее укрывали огромные древние фолианты кержаки, «невежественные суеверцы», по аттестации государственных и идеологических деятелей просвещенного XVIII в. Усилившийся после петровских реформ научный интерес к отечественной истории и культуре развивался иными путями и не уменьшил отчужденности между раскольническими ценителями старины и казеннокоштными. Очень показательна в этом плане упоминавшаяся в предыдущей главе борьба Василия Никитича Татищева со старообрядцами. В ходе карательных акций Татищева на Урале в тайных старообрядческих убежищах военные команды захватили и уничтожили немало древних книг. Но на Урале же талантливейший русский историограф Василий Никитич добыл старообрядческую рукопись, которая содержала очень интересный пергаментный список русской летописи, сообщавшей немало неизвестных науке фактов. Позднее этот список, по-видимому, сгорел во время большого пожара в имении Татищева. Если бы эта «раскольническая летопись» (как ее назвал Татищев) сохранилась до наших дней,

не существовало бы многих загадок, над которыми сегодня ломают голову ученые.

Один за другим создаются и растут в XVIII в. старообрядческие центры на окраинах страны, в глухих лесах. И библиотеки древних книг, собираемые настойчиво и заботливо, укрепляют авторитет таких центров. На севере Выгореция создаст даже свою литературную школу, традицию, свои мастерские по переписке рукописей.

Вскоре после знаменитой Гангутской победы будет одержана еще одна, не менее масштабная, хотя и не столь славная: победа над полутораста тысячами керженских старообрядцев. Но разгром Керженца укрепит более восточные центры раскола. Этот поток беглецов с Керженца на Урал очень четко прослеживается по сборнику, найденному нами в скриптории. Немало ценнейших памятников отечественной письменности, которые уже тогда считались весьма древними, было тайно перевезено в те годы на восток. В лесных «кельях», «хижах», а подчас и в простых крестьянских избах новых старообрядческих районов Урала и Сибири укрывались тогда жемчужины древнерусской культуры. Мы никогда, по всей видимости, не узнаем, сколько их там было — очень многое погибло во время столетий преследования старообрядцев, кое-что давно уже попало в руки собирателей, в столичные коллекции. Главной целью нашей экспедиции было выяснить, не осталось ли там хоть что-нибудь до наших дней.

Рукописной старины в Сибири оказалось ныне не так уж много, куда меньше, чем, например, в Поморье. Да и давалась она с гораздо большим трудом — сказывались и огромные сибирские расстояния, и былая замкнутость поколений сибирских кержаков, и полное отсутствие надежной информации о маршрутах миграций старообрядцев. Но то немногое, что осталось и что удалось найти, явно стоило трудов. Для меня на первом месте здесь до сих пор один рукописный сборник, обнаруженный нами во время третьего экспедиционного сезона.

* * *

Наш путь в ту алтайскую долину лежал через Енисей и Саяны: мы прошли в обратном направлении путь старообрядцев-переселенцев конца прошлого и начала нынешнего века. Собирая на Енисее сведения о районах выхода тамошних старообрядцев, мы все чаще слышали об этой алтайской долине, впервые заселенной русскими еще двести лет назад. Вольная крестьянская колонизация создала здесь тогда несколько деревень. Позднее в одной из них возникла значительная книжная

коллекция. Но в наши дни старообрядчество утратило здесь все свои позиции. Не было никаких сведений о существовании сколько-нибудь замкнутых старообрядческих поселений, хотя бы и очень небольших, о сохранении старого жизненного уклада. Обычный современный район Алтая, зернопроизводящий и животноводческий. Совершенно иная экономика, чем в охотничьих поселениях на Енисее, где мы были раньше.

И все же кое-что из услышанного нами километрах в двухстах от первого скриптория заставило нас рискнуть и отправить группу именно в этот район.

Так, в июле 1968 г. я оказался в крохотной избушке, стоявшей на краю пестрого поля цветущих маков. Невдалеке от него, за околицей богатого села, земля сразу как-то круто поднималась вверх — начинался склон горы, густо поросший темными пихтами. Мы уже знали, что ее зовут здесь горой Филарета, по имени старика, больше века назад жившего в одинокой избушке на вершине горы и промышлявшего ремонтом и перепиской древних книг. О Филарете нам рассказал директор местной школы, человек любознательный и весьма уважаемый, депутат краевого Совета. Он был дальним родственником Филарета — почти все старожилы этих мест в родстве между собой. Недавно несколько человек во главе с директором предприняли поиски хижины Филарета и действительно обнаружили ее остатки с поленницей дров возле нее. Высохшие почти до невесомости лиственничные поленья они привезли в село в качестве доказательства своей находки. Старики еще слышали рассказы о том, как крестьяне села хитроумно прятали Филарета от бдительности церковных властей — в прошлом веке в соседнем селе прочно обосновалась православная миссия, и гневные антицерковные филиппики Филарета были неплохо известны миссионерам.

В мастерской Филарета был создан своеобразный стиль примитивного украшения рукописи, мы несколько раз видели уже этот орнамент в соседних селах, где изредка попадались рукописи, созданные в избушке на горе в годы отмены крепостного права. Несколько позднее в полусотне верст отсюда мы нашли и одного продолжателя дела Филарета — старика Ивана Тарасьевича, владельца огромной окладистой бороды. Его книжный орнамент несколько напоминает орнамент Филарета. Иван Тарасьевич имел неплохую библиотеку сочинений византийских писателей, им же переписанных. Мы застали его, когда он кончал работу над одной из таких книг. Как обычно, набор инструментов был весьма традиционным. Нам удалось сделать несколько неплохих фотографий, которые были напечатаны в Ленинграде, в Трудах Отдела древнерусской литературы Пуш-

кинского Дома. Они были быстро перепечатаны в Англии оксфордским профессором Дж. Симмонсом, специалистом по истории русской литературы и русской книги, которому, например, посчастливилось ввести в научный оборот Букварь Ивана Федорова.

В избушке близ макового поля мы надеялись найти еще несколько книг Филарета и не ошиблись. Впрочем, эти книги нам так и не достались: хозяйка избушки обладала характером суровым и непреклонным,—сказав нам с самого начала «нет», она так и не изменила этого решения, несмотря на длившиеся добрую неделю уговоры. Однако неделя бесед в жарко натопленной (в середине июля!) избушке не была напрасной. Мы узнали немало интересного о нашей хозяйке (назовем ее условно Анной Сергеевной). Да и она к концу этой недели стала не то чтобы верить нам, но набираться отчаянной смелости: а что будет, если рискнуть признать, что мы и впрямь явились к ней только ради интереса к древним книгам.

Долгая жизнь Анны Сергеевны была трудной, начиная с самых детских лет, когда ей приходилось батрачить на богатых односельчан. Она гордо продемонстрировала справку об этом, бережно хранимую в одной из филаретовских рукописей.

Эта старая, истертая справка 20-х гг., выданная сельскими властями, и смелый, неустрашимый нрав Анны Сергеевны неожиданно сослужили важную службу истории русской национальной культуры. Более сорока лет назад в селах этой долины шла бурная ломка старых общественных отношений. И чей-то неумный приказ обрек на уничтожение наряду с прочими атрибутами отжившего быта богатейшую коллекцию старопечатных книг и рукописей, которая собиралась здесь крестьянами со времен Екатерины. И именно тогда недавняя батрачка Анна Сергеевна рискнула спасти кое-что. Книги провели зиму в сарае без крыши, несколько нижних фолиантов глубоко ушли в снег, их не заметили. Весной Анна Сергеевна нашла их и забрала к себе.

Среди них было первое издание Соборного Уложения 1649 г., редчайшая Виленская псалтырь 1575 г., выпущенная в свет учеником Ивана Федорова Петром Мстиславцем, и большой рукописный сборник XVI в.—самая ценная рукопись из всех, которые мне посчастливилось найти в Сибири.

* * *

Впервые этот внушительный фолиант появился в нашем поле зрения к концу четвертого дня непрерывных бесед в избушке Анны Сергеевны. К этому времени наша хозяйка уже кое-что знала о нас. Она легко могла проверить по собственным впечатлениям наш рассказ о восточных скитах. Вскоре после

войны она сама побывала в тех местах, проделав для этого немалый путь через Новосибирск и Красноярск.

Правда, хозяина скриптория она так и не захотела повидать: уже невдалеке от его заимки она неожиданно узнала о каких-то нарушениях старинной традиции в этих местах и решительно повернула назад. Но, во всяком случае, она знала вполне достаточно, чтобы проверить правдивость нашего рассказа. В тот памятный июльский день Анна Сергеевна сказала нам как бы между прочим, что у нее давно уже хранится какая-то летописная книга. И вот наконец рукопись извлечена из сундука и красуется перед нами.

В научном описании этого памятника позднее будет сказано следующее: «В лист, на 663 листах — 6 листов литерных. Написан полууставом и скорописью разных рук конца XVI в. Бумага с водяными знаками: 1) четырехчастный гербовый щит (Баденский герб), с лигатурой LB, почти совпадает с Briquet № 1075, 1587 г.; 2) кувшин одноручный с литерами P/B почти совпадает с № 12793, 1583 г. На чистом листе в начале книги запись скорописью второй половины XVII в.: «Книга Григорей Синаит». На листе 2 об. запись скорописью другой руки XVII в.: «Сия книга Владимирского Рождественского монастыря церковная». На листе 3 — заставка растительного орнамента. Переплет — доски в коже, медные жуки и застежки».

Далеко не все эти детали мы могли увидеть сразу. Зима, проведенная под снегом, не прошла для рукописи даром. Многие листы книги слиплись в сплошной блок, ни один водяной знак поэтому не просматривался. Правда, книга открывалась в двух или трех местах. Именно здесь листы были порваны. Это были следы неудачных попыток Анны Сергеевны разлепить книгу более тридцати лет назад. К немалой чести нашей хозяйки должен заметить, что Анна Сергеевна немедленно прекратила эти попытки, как только обнаружила вред, который она наносит рукописи. Рассматривая эти несколько листов, мы заметили, что кое-где чернила угасли почти совсем на подмокшей бумаге, листы в левом нижнем углу при малейшем прикосновении должны были распадаться на мелкие фрагменты. Однако книга не потеряла ни одного своего листа, и это настраивало меня оптимистически: я видел уже раньше поразительную по кропотливости и тщательности работу реставраторов древней бумаги, ясно читал в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах тексты настолько угасшие, что при обычном освещении лист казался совершенно чистым. Забегая вперед, скажу, что рукописи нашей очень повезло: она попала в великолепные руки реставраторов Государственного Исторического музея, которым удалось спасти более 98 процентов текста; да и в остальном многое угадывалось по смыслу.

Но все эти реставрационные заботы были еще впереди, а пока мы внимательно разглядывали те несколько листов, на которых книга могла тогда открываться. Желтоватые железосинеродистые чернила, четкий полууставный почерк, свидетельствующий о второй половине XVI в. На одном из листов, к нашей радости, оказалась дата — 1591 г. Дата эта была написана к тому же несколькими различными способами — от сотворения мира и от рождества Христова, по лунному и по солнечному календарю, по годам правления царя и патриарха. Прямо пособие для студентов по исторической хронологии! Это была так называемая «черная дата», т. е. написанная на бумаге чернилами, в отличие от «белой» — даты водяного знака на бумаге рукописи; «белая дата» менее точно датирует рукопись (бумага ведь могла залежаться, и со дня ее изготовления до времени, когда ее коснется перо писца, могло пройти несколько лет). Но, с другой стороны, наша «черная дата» указывала лишь на время создания одного из произведений, переписанных в рукописи. А много ли лет прошло от создания этого произведения до переписки его в нашей рукописи, мы пока не знали.

Сочинение, о дате создания которого сообщало наше «пособие по хронологии», было не только хорошо известно, но и по праву считалось одной из важных вех в истории древнерусской литературы. В оглавлении нашей рукописи оно было названо: «Житие и подвизи святого благоверного князя Александра Невского чюдотворца». Это была одна из более поздних редакций биографии знаменитого полководца. Какая именно редакция, мы определить пока не могли. Пробуждение в XVI в. интереса к событиям трехвековой давности было фактом давно известным и понятным. Еще в 40-х гг. XVI в. было торжественно провозглашено почитание Александра Невского в качестве общерусского святого. Созданные вскоре после этого новые редакции его биографии умело проводили мысль о преемственной связи ратных подвигов дружин Александра Невского и Дмитрия Донского с военными делами последних времен — славным взятием Казани.

Вслед за временем создания этой редакции «Жития Александра Невского» наша рукопись сообщала и о его создателе. Но по древнерусской традиции имя писателя было зашифровано сложной цифровой загадкой. Эти строки попались нам на глаза в первые же минуты знакомства с рукописью. Но, к своему стыду, я так и не сумел тогда раскрыть эту тайнопись и прочесть имя писателя. Уже позднее оказалось, что цифровая загадка была написана с ошибкой и поэтому вообще не решалась. Безуспешно пытаясь в доме Анны Сергеевны решить эту головоломку и прочитать имя древнерусского книжника, мы и не подозревали, как хорошо оно было нам знакомо.

В начале рукописи было несколько чистых листов. Они приклеились к верхней доске переплета, и верхняя треть последнего из них отставала от остального блока листов. На обороте этого листа мы сразу же увидели приведенную выше запись скорописью XVII в. о принадлежности книги Владимирскому Рождественскому монастырю. Это вполне согласовалось с тем немногим, что мы знали о содержании рукописи: именно

«Я и не подозревал тогда, как хорошо мне было известно имя составителя этой редакции биографии Александра Невского, скрытое в рукописи цифровой загадкой»

здесь до времени Петра I покоились в белокаменном гробу останки Александра Невского. Вряд ли мы сможем когда-либо узнать, какими сложными и причудливыми путями эта рукопись, выйдя из-за высоких монастырских стен, до сих пор величественно возвышающихся над Клязьмой, попала в далекое сибирское село, когда и кем была она изъята или похищена из богатой монастырской библиотеки. (Про себя я подивился совпадению: моя последняя перед переездом в Сибирь работа была как раз связана с описанием книг этой библиотеки.)

В это первоначальное знакомство с книгой времени для ее разглядывания у нас было не так-то много — Анна Сергеевна все еще сомневалась, можно ли доверить нам бережно хранимую ею рукопись. Наши беседы и переговоры длились еще около суток, и лишь к исходу последнего дня нашего пребывания в этом селе книга была передана через нашу студентку Лену Журавлеву, обладавшую замечательным даром ведения неторопливых многочасовых бесед со старообрядцами. Была уже глубокая ночь, а на следующее утро на рассвете надо было отправляться дальше.

Пришлось, отложив продолжение знакомства с рукописью до других времен, тщательно упаковывать ее в хлорвинил и спрятать в рюкзак.

* * *

Но уже на следующий день, во время обеденного привала, я не выдержал и опять распаковал книгу. Не стоило, конечно, говорить сейчас об этом — плохой пример для экспедиционных археографов, справедливо почитающих терпение и выдержку одной из главных добродетелей. Я успокоил себя тем, что неплохо использовать солнечный погожий день и проветрить на вольном воздухе книгу. К тому же каждый реставратор хорошо знает, что до применения различных специфических средств всегда имеет смысл попробовать разлепить листы книги самыми простейшими методами. Просушка на свежем воздухе — один из них. Конечно, со всяческими предосторожностями. И вот после недолгой просушки книги в тени небольшой скалы несколько листов из ее последней части почти совсем отошли друг от друга. Вместо четко выписанных буквиц полуустава здесь была красивая беглая скоропись конца XVI в. В глаза бросилась строка, сразу определившая серьезность находки: «и митрополит Даниил спросил Максима Святогорца...» Это было знаменитое «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — сложный и противоречивый памятник, который в науке известен также под именем «Судного списка» Максима Грека. Ибо спор главы русской церкви с крупнейшим мыслителем XVI в. действительно происходил в обстановке суда над Максимом Греком. Точнее говоря, Максима судил митрополит и весь собор высшего русского духовенства, причем делалось это дважды: в 1525 и 1531 гг. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — созданная ярым противником Максима публицистическая обработка подлинных протоколов суда, которые не дошли до нас. Источник этот был опубликован более века назад, но тогда же выяснилось, как трудно им пользоваться — огромное количество явных противоречий и умолчаний не давало возможности сколько-нибудь четко уяснить даже, какие обвинения были предъявлены Максиму Греку в 1525-м, а какие в 1531 г.

В нескольких своих сочинениях Максим Грек едко и квалифицированно высмеивал языческие сказки об удаче, случае, «колесе Фортуны». Уж очень они противоречили строгой изначальной детерминированности всех людских судеб в христианском мироздании. Богиня судьбы посмеялась над философом, нагромоздив цепь невероятных случайностей, удачных или несчастливых, не только на жизненном пути Максима, но и в длящихся пятую сотню лет спорах о нем. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» дало много важных аргументов для этих споров. И вплоть до 1968 г. этот памятник был известен лишь по одному-единственному списку середины XVII в. К несчастью для Максима Грека, этот список был

дефектным — текст обрывался вскоре после изложения умело и убедительно построенной обвинительной речи митрополита Даниила.

Таким образом, аргументы обвинения были давно известны историкам, а о защите Максима мы знали очень мало. Все попытки разыскать в архивах недостающий конец были неудачны. Неизвестен был даже размер утерянной части. Многие исследователи у нас и за рубежом пытались как-то примирить противоречия источника, догадаться, о чем шла речь во второй половине. Но единого ответа не получилось, мнения расходились все больше.

Несколько случайных обстоятельств, о коих речь впереди, способствовали обострению этих споров.

Почему же суд над Максимом Греком, история этого человека постоянно занимали исследователей, почему в XX в., как и в XVI, ведется полемика о его судьбе, о его деле?

* * *

Максим Грек прибыл в Москву в марте 1518 г. из Ватопедской обители Афонской «святой горы», старинного центра греческой и славянской культуры. Русский государь Василий III (отец Ивана Грозного) просил прислать афонского «старца Саву, переводчика книжново, на время». Опытный специалист-переводчик должен был перевести с греческого языка церковные книги, необходимые для споров с католиками и русскими еретиками. Последние, в частности, ссылались в XV в. на Толковую псалтырь и другие греческие книги, полного перевода которых не было в распоряжении иерархов русской православной церкви. Бесценные богатства греческой письменности лежали совсем рядом, в Кремле (позднее эта библиотека станет известной под именем «библиотеки Ивана Грозного»). Афонского старца Савву на Руси уже знали как умелого переводчика с греческого, но он был стар и немощен и не смог приехать. Тогда на Афоне было решено послать в далекий путь монаха Михаила Триволиса, полного сил и известного своей ученостью.

Он родился в греческом городе Арте около 1470 г. и происходил из знатного греческого рода, близкого когда-то к византийскому императорскому дому. Он был незаурядным философом, прошедшим хорошую выучку у известных гуманистов Греции, Италии и Франции. Тринадцать лет своего ученичества он провел в лучших школах Флоренции, Болоньи, Падуи, Феррары, Милана. В конце XV в. он работал у знаменитого венецианского первопечатника Альда Мануция. Изящные издания венецианской типографии — «альдины» — разносили по всей Европе гуманистические идеи, а сейчас они являются лучшим украшением любого отдела древней книги. Бережно хранятся

они и в подземном книгохранилище Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук СССР.

Несколько лет Михаил Триволис, будущий Максим Грек, проводит на службе у итальянского гуманиста Пико делла Мирандола. Вместе с ним он все больше увлекается страстной проповедью Иеронима Савонаролы. Это имя гремело тогда в Европе, имя смелого и яростного борца против произвола и бесчинств римской курии. Папе Александру Борджиа удалось уничтожить своего самого опасного обличителя — Иероним Савонарола был сожжен во Флоренции в 1498 г. Максим видел это аутодафе и много лет спустя в далекой России написал взволнованную повесть о нем. «Повесть страшна и достопамятна» Максима Грека о страстных обличениях и кончине Иеронима Савонаролы часто переписывалась русскими книжниками. Когда после долгих и кропотливых усилий реставраторов мы получили наконец возможность перелистать найденную на Алтае рукопись, на одном из ее листов нам бросились в глаза начальные слова этой повести: «Флоренциа град есть прекраснейший...» Во Флоренции Михаил Триволис, увлеченный гневными, неистовыми обличениями Иеронима, становится верным его последователем, а в 1502 г. постригается в католические монахи в знаменитом флорентийском монастыре святого Марка, которым еще недавно руководил Савонарола. Но это далеко не последний крутой поворот в жизни Михаила Триволиса. Вскоре он вынужден уйти из монастыря Святого Марка, а в 1505 г. он уже был православным монахом афонской Ватопедской обители, знаменитой своими книжными богатствами и учеными. Так итальянский гуманист Михаил Триволис становится афонским православным монахом, известным на Руси под именем Макси-

«Флоренциа град есть прекраснейший» — начиналось сочинение Максима Грека об Иерониме Савонароле

ма Грека. Идентичность этих двух лиц была доказана в изящном и точном исследовании французского историка Ильи Денисова, которое вышло в свет в 1943 г. в Париже и в Лувене.

Отправляясь в далекий путь с Афона через Константинополь в Москву, Максим не имел оснований считать свое пребывание на Руси сколько-нибудь длительным: ему поручался перевод нескольких книг, а работал он очень быстро. Но судьба решила иначе: Максиму было суждено провести в России весь остаток своей жизни и умереть там через сорок лет после того, как он в последний раз видел Афонскую гору.

* * *

В Москве Максима Грека приняли с честью, поселили в Кремлевском Чудове монастыре. Несмотря на плохое на первых порах знание русского языка Максим быстро освоился с новой обстановкой. Его келья становится центром многих ученых споров того времени, к нему тянутся умные и образованные люди, недаром историки будут потом говорить о «чудовской академии» Максима Грека. Этому кружку покровительствует близкий Василию III «великой временной человек», влиятельный временщик — знаменитый «князь-инок» Вассиан Патрикеев, сам незаурядный писатель и политик, стремящийся ограничить в пользу государственной власти церковное землевладение. Обличение церковных богатств и стяжаний было близко недавнему почитателю Иеронима Савонаролы. Под несомненным влиянием Вассиана Патрикеева Максим Грек примыкает к тому направлению русской церковной публицистики, которое получило название «нестяжательства». Разговоры в келье Максима выходят за рамки ученых споров, затрагивают многие острые вопросы политики. Максим, в частности, недоволен внешней политикой Василия III: Максим — сторонник решительной борьбы с Турцией, а великий князь считает ссору с могущественным султаном гибельной для Руси и ищет союза с ним.

На следующий год после своего появления в Москве Максим обращается к Василию III с проникновенным посланием, в котором выражает надежду, что Греция «тяжце волнуема от безбожных агарян, благочестивейшею державою царствия твоего, да изволит свободити и от отеческих твоих престол наследника покажет и свободы свет тобою да подаст нам бедным милостию и щедротами его». Свое глубокое убеждение в том, что Греция может быть освобождена от турецкого ига лишь с помощью России, «богохранимой и боговенчанной», Максим Грек не раз выражал и позднее.

Еще одно послание к русскому государю Максим Грек направляет в связи с тем тягчайшим поражением, которое в

1521 г. неожиданно нанес русским крымский хан, турецкий вассал.

Максим скорбит об этом временном поражении, воодушевляет великого князя на дальнейшую борьбу. При этом он предлагает действовать решительно и разумно, не начиная немедленной трудной борьбы с Турцией или с Крымом, а нанеся внезапный удар по Казанскому ханству. Этот дальновидный совет, как известно, позднее ляжет в основу политики Ивана Грозного, очень ценившего мудрость Максима Грека.

Запомним для дальнейшего нашего изложения этот комплекс внешнеполитических идей Максима: страстная ненависть к султанской Турции, поработившей Грецию; надежда на освобождение и возрождение Греции при помощи «богохранимой» русской державы; глубокое убеждение в ненадежности и пагубности для России любого союза с турками; наконец, немалая тактическая гибкость в определении конкретных целей борьбы с Турцией и ее вассалами. Последнее подчеркнем особо — Максим вовсе не стремился немедленно столкнуть Россию с Турцией, понимая всю рискованность подобной политики.

Одновременно Максим активно занимается своим главным делом — много переводит с греческого, пишет одно произведение за другим в защиту православия. Первое задание, перевод Толковой псалтыри, выполнено Максимом Греком с поразительной быстротой: за год и пять месяцев (в рукописи перевода почти тысяча листов большого формата: сделанное в 1896 г. издание этой книги весит более пуда). В предисловии к своему переводу Максим подчеркивает, что переведенные им тексты послужат победе православной ортодоксии над еретиками, «яко теми сатанинские их плевелы из корениа истерзати и во огнь вечный воврещи».

Максим полагал, что с выполнением этой огромной работы его миссия на Руси заканчивается, но великий князь решил иначе: он заказывает все новые переводы, наряду с которыми Максим создает немало оригинальных произведений, посвященных, в частности, защите ортодоксального православия от католицизма, иудаизма, магометанства. Пишет он произведения и общеобразовательного энциклопедического характера. Его слава и авторитет все растут.

Тем неожиданнее резкий перелом 1525 г. — суд, соборное проклятие, заточение в Иосифо-Волоколамский монастырь, запрещение писать, учить. Максим не подчинился запрету, и новый соборный суд в 1531 г., еще более тяжелые обвинения, второе проклятие, ссылка в тверской Отроч монастырь. Новое заточение длится целых двадцать лет. Но странное дело. В 1525 г. Максим Грек был послан в заточение к своим злейшим

врагам, и режим содержания знаменитого узника был чрезвычайно жесток. А после второго суда в 1531 г., изобиловавшего самыми страшными обвинениями, Максим Грек оказался во владениях самого искреннего своего почитателя — тверского епископа Акакия. Условия его заключения смягчаются вскоре настолько, что дважды преданный соборному проклятию Максим сможет именно в это время интенсивно трудиться над созданием новых и новых своих произведений, составлять целые собрания их. (Последняя библиография насчитывает 365 различных сочинений Максима Грека.) В его распоряжении будут и книги, и штат писцов.

Максим сможет позволить себе даже суровые обличения своего благодетеля епископа Акакия, посвятив специальное слово весьма красочному доказательству тезиса о том, что большой тверской пожар 1538 г. явился наказанием божьим за роскошную жизнь и многочисленные прегрешения тверского духовенства.

Слава знаменитого старца признается официально, когда тогдашний митрополит Макарий, несмотря на тяготеющее над Максимом соборное проклятие, включает несколько его произведений в свой огромный свод рекомендованных церковью для чтения житий святых и поучений — «Великие Минеи Четьи». Царь Иван VI посещает келью Максима и почтительно беседует с ним. Влияние Максима сказывается и в ходе знаменитого Стоглавого собора 1551 г., принявшего ряд важных политических и церковных решений. Трое вселенских патриархов — константинопольский, иерусалимский и александрийский, как и афонские монастыри, хлопотали в 40-х г. XVI в. об его освобождении. Митрополит Макарий писал тогда же ему почтительные письма: «целую узы твои», но и он не мог добиться сразу освобождения Максима от этих уз, наложенных соборами 1525 и 1531 гг. Только в 1551 г., за пять лет до смерти, Максим был освобожден и с почетом принят в Троице-Сергиевом монастыре. Но формального оправдания от выдвинутых четверть века назад обвинений Максим не получил и тогда, хотя никто уже не настаивал на них.

Во всей этой истории много загадочного. Нам известно, какие страшные обвинения тяготели над ним: еретичество, волшебство (в том числе и против великого князя), обличение богатства церкви, жестокой эксплуатации церковью крестьян, критика московской внешней политики, резкие отзывы о великом князе, изменческие шпионские сношения с турецким султаном и его пашами. Какие из этих обвинений соответствовали истине? Какая действительная причина расправы над Максимом стояла за официально предъявленными обвинениями?

Соборный суд 1525 г. над Максимом Греком был связан с

шумным делом о втором браке Василия III: неплодие его первой жены Соломонии Сабуровой вырастало в политическую проблему судеб централизованного государства в случае смерти Василия III без наследников. Вокруг вопроса о разводе и втором браке разгорелась поэтому острая политическая борьба. Максим по каноническим соображениям высказывался против развода, запрещенного церковными правилами. Против развода высказывался, вероятно, и влиятельный покровитель Максима Вассиан Патрикеев. Брак Василия III с будущей матерью Ивана Грозного, Еленой Глинской, состоялся лишь после разгрома оппозиции сторонников Соломонии. Таков один из аспектов осуждения Максима Грека, но далеко не единственный.

В феврале 1522 г. вместо сочувствовавшего «нестяжателям» Варлаама во главе русской церкви становится резко враждебный им митрополит Даниил. Отныне руководство русской церкви находится в острейшей вражде с нестяжателем «князем-иноком» Вассианом Патрикеевым. Суд 1525 г. над Максимом Греком был одновременно тяжелым ударом и по Вассиану, хотя последнему удалось тогда на какое-то время сохранить свое влияние. В 1531 г. Максима судили уже вместе с Вассианом. Обвиненный в различных ересях, этот противник церковного землевладения был осужден и отправлен в заточение в 1531 г. Таким образом, и позиция Максима в деле о разводе великого князя, и его близость к Вассиану Патрикееву способствовали осуждению Максима.

Но если оба эти обстоятельства были давно известны историкам и учтены ими, то в целом вопрос об этих судах над Максимом Греком таил в себе немало спорного и загадочного. Что главное во всех явных и тайных причинах осуждения греческого ученого — дело Соломонии или борьба Максима с церковным землевладением, его высказывания о русской внешней политике или резкая критика многочисленных ошибок в русских церковных книгах, падение Вассиана или обвинение в государственной измене? Полемика обо всем этом продолжается до сих пор. Особенно много споров было вокруг обвинения Максима в протурецком шпионаже. Казалось, абсурдность именно этих обвинений — самая очевидная: ведь Максим Грек всегда желал победы православной Руси над магометанской Турцией, мечтал даже об освобождении греков русским оружием, а если и порицал русскую внешнюю политику, то за недостаточную активность и умение в борьбе с «неверными». Но дело значительно сложнее. В 20-х г. XVI в. в Москве был несколько раз турецкий посол Скиндер, грек по национальности, связанный со многими людьми из греческой колонии в Москве. Чванливый и напыщенный посол был недоволен тем приемом, который ему оказали в Москве, враждебно относился к идее русско-

турецкого союза и открыто похвалялся в Москве, что поссорит султана с московским великим князем. В обвинительной речи митрополита Даниила во время суда над Максимом Греком содержались упреки по поводу сношений Максима со Скиндером, утверждалось, что Максим тайно пересылал турецкому султану и его пашам какие-то изменнические грамоты. Скептицизм многих историков в отношении этих заявлений Даниила был изрядно поколеблен, когда в 1916 г. добросовестный исследователь Б. Дунаев обнаружил в делах русского внешнеполитического архива XVI в. материалы, относящиеся к Скиндеру. Скиндер умер в Москве незадолго до суда 1531 г. После его смерти в его бумагах был сделан обыск, искали какие-то грамоты, которые он мог взять для передачи в Турцию. Нашли ли — неизвестно, но вскоре после этого митрополит Даниил сделал на суде свое уверенное заявление о том, что Максим Грек пересылал свои изменнические грамоты туркам. Б. И. Дунаев полагал, что целью этих изменческих сношений Максима Грека с турками было поссорить Россию с Турцией ради освобождения Греции от турецкого ига. В 1946 г. известный советский историк И. И. Смирнов, основываясь на этих же данных, доказывал, что Максим Грек был отъявленным шпионом, состоявшим на агентурной службе султана.

Недавно, правда, фортуна опять улыбнулась своему старому хулителю: на защиту Максима встала смелая и настойчивая ленинградская исследовательница Н. А. Казакова, которая собрала веские аргументы, свидетельствующие о ложности политических обвинений против Максима. Это позволило ей сделать некоторые предположения и о содержании не дошедших до нас частей «судного списка» Максима Грека. Она нашла даже еще один список этого памятника, но, увы, он был довольно поздним и обрывался абсолютно на том же месте, что и ранее известный список. Книга со статьей Н. А. Казаковой поступила в книжные магазины Академгородка как раз к нашему возвращению из алтайской экспедиции. Имея в рюкзаке более полный список «судного дела» Максима, можно было питать надежду осуществить проверку, которая так редко выпадает на долю историка — сопоставить гипотезы о содержании утраченных частей документа с обнаруженным реальным текстом этих частей.

В последние десятилетия, после отождествления Максима Грека с Михаилом Триволисом, вновь разгорелись также споры об общих оценках всего его творчества, его деятельности в истории мировой культуры. Явление ли это в первую очередь западной, итальянской и греческой культуры или же — русской? Сотни его произведений, написанных в России, говорили в пользу второго положения, многие факты из его жизни до приезда в Россию — в пользу первого. Речь идет, конечно, о

наиболее обобщающей оценке; многие следы былых гуманистических привязанностей Максима хорошо прослеживаются в русских его произведениях, сколь бы строго каноничными с точки зрения православия они ни были.

Недавно в этой полемике взял слово известный греческий писатель Мицос Александропулос, немало сделавший для пропаганды русской культуры в Греции и греческой культуры в нашей стране. В предисловии к русскому изданию 1980 г. своего романа «Сцены из жизни Максима Грека» он пишет: «Признаюсь, что теперь, перед выходом моей книги на русском языке, я испытываю особое волнение. Ведь это издание адресуется читателю, для которого Максим Грек и его время — главы его собственной, отечественной истории».

Во всей этой полемике, продолжающейся до сего дня, важными аргументами стали обвинения соборов 1525 и 1531 гг., когда Максима объявили, в частности, сторонником эллинской и прочих ересей.

Все эти споры и исследования опирались в значительной мере на тот противоречивый источник о суде над Максимом Греком, который, как я уже сказал, был известен нам лишь частично.

Поэтому так и повлияло на направление споров о Максиме Греке то случайное обстоятельство, что «Судный список» Максима обрывался на самом интересном месте, вскоре после конца обвинительной речи митрополита Даниила. Обвинения выглядели довольно убедительно, а о степени их достоверности можно было только гадать.

* * *

Понятно поэтому то волнение, которое я испытал, когда убедился, что мы приобрели сборник, в котором есть рукопись «Судного списка» Максима Грека. С первого же взгляда было видно, что рукопись наша намного древнее той ранее известной, над которой ломало голову столько исследователей. Конечно, первой же мыслью было проверить «черную дату», 1591 г., по водяным знакам бумаги сборника. Но в блоке слипшихся листов водяного знака не разглядеть. А после реставрации, как я уже знал, будут свои трудности: реставраторы закрепляют бумагу двойной пленкой тончайших, почти неосязаемых микалентных листов, после чего разглядеть мелкие детали водяного знака куда труднее. Но водяной знак я смог увидеть задолго до того, как рукопись попала в руки реставраторов. Еще в полевых условиях, а затем в Новосибирске верхние части многих слипшихся листов стали постепенно отделяться друг от друга — рукопись попала в новый температурно-влажностный режим. И уже через неделю после первого разглядывания рукописи на

привале несколько листов полностью отделились друг от друга. На одном из них при рассматривании на просвет четко просматривались очертания водяного знака. Но, увы, я не помнил наизусть этого редкого баденского герба. Однако позднее, в Новосибирске, именно это обстоятельство помогло: водяной знак был настолько редким, употреблявшимся так недолго, что это позволило более точно, чем по распространенным водяным знакам, датировать рукопись. Когда мы наконец разыскали этот герб в справочниках филиграней, весь сборник получил довольно точную дату: 90-е г. XVI в. Это примерно на полвека раньше, чем известная прежде рукопись «Судного списка» Максима Грека!

Но не меньше, чем датировка, с самого начала нас волновало другое: так хотелось надеяться, что этот список будет не только более древним, но и более полным. Серьезные основания для этой надежды появились у нас очень быстро. Тот раздел сборника, где речь шла о суде над Максимом Греком и его сотрудниками, был написан особым почерком, резко отличающимся от всех остальных почерков рукописи. Приблизительный объем интересующей нас части можно было определить, как только стали отделяться друг от друга самые верхние части слепившихся листов. И очень скоро стало ясно, что красивая убористая скоропись покрывает в два с лишним раза большее количество листов, чем то, которое должна была бы занять известная ранее часть судного списка Максима Грека!

* * *

С этими первыми обнадеживающими наблюдениями экспедиция вернулась в Академгородок. Здесь была уже кое-какая литература по теме, справочники, на полках красовались последние тома дорогого голландского издания водяных знаков. Можно было приступать к предварительному описанию сборника. Он был разбит на сорок разделов, названных составителем «главами». Над изготовлением его трудилось несколько переписчиков, а кто-то один (возможно, сам заказчик) тщательно сверил потом весь текст и вписал своим характерным размашистым почерком все случайно пропущенные места, исправил все ошибки. Переписка сборника была заказана сразу нескольким писцам, работавшим одновременно каждый над своей частью. Поэтому в готовой книге перед каждой сменой почерка оказались чистые промежутки величиною от половины страницы до нескольких листов. На одном из таких листов сохранилась характерная рабочая запись: «Тренкино, не правлено, и не подписаны». Действительно, эта часть текста не выверена и записей правщика на ней нет, хотя безвестный писец Тренка, случалось, допускал ошибки.

Среди глав рукописи несколько было отведено под документы по истории России. Вот послания Кирилла Белозерского (XIV в.) к великому князю Василию I и его братьям Юрию и Андрею; за посланием следует завещание Кирилла Белозерского,— тексты известны уже, но надо будет сверить. А вот и давно опубликованная грамота митрополита Макария о начале важной идеологической реформы по централизации культа местных русских святых, в том числе Александра Невского и Кирилла Белозерского. Но что это? На грамоте в нашей рукописи стоит дата: «1543». А во всех известных ранее списках грамоты она датируется 1547 г., эта дата начала реформы Макария помещена во всех курсах и учебниках русской истории. Во всех, кроме одного. Знаменитый русский историк XVIII в. Василий Никитич Татищев без каких-либо объяснений отнес начало реформы Макария тоже к 1543 г. Татищев имел в своем распоряжении многие источники, погибшие в московском пожаре 1812 г. Поэтому к сообщенным им сведениям историки относятся с большим вниманием и о достоверности этих сведений давно горячо спорят. Теперь еще одно не подтверждавшееся ранее источниками сообщение Татищева получило документальную базу. Это не значит, конечно, что теперь мы должны передатировать реформу Макария. Старая дата «1547 г.» стоит на других известных ранее списках этой же грамоты. Но в споре о достоверности сведений Татищева появился еще один аргумент в пользу его сочинений.

По обычаю древних переписчиков рукописей, названия многих глав были красиво выписаны скорописью на верхних полях листов. Уже беглый просмотр этих киноварных надписей, сопоставление их с оглавлением всего сборника доказали, что интерес составителей рукописи к Максиму Греку был довольно устойчивым. Шесть глав содержали списки произведений Максима Грека, а две главы были отведены под его переводы. Кем бы ни был заказчик сборника, он явно уважал Максима Грека и считал его творчество авторитетным для себя, несмотря на все судебные обвинения Максима в еретичестве, несмотря на двукратную анафему.

А вот и предпоследняя глава этого сборника, больше всего нас интересующая: «Собор на Максима Грека Святогорца». Мне повезло: как раз в этой части рукописи листы раньше всего начали сами собой разлепляться, да и вообще порча текста оказалась наименьшей. Хотя и очень пока приблизительно, удалось определить, где кончается известный ранее текст. А что дальше? Далеко не все еще читается. Вот Максим отбивается от очень серьезных по тем временам обвинений в неуважении к русским чудотворцам—они были стяжателями, имели села, отдавали деньги под проценты, людей судили и били

кнутами — какие же это чудотворцы? Это типичная для нестяжателей постановка вопроса. Кое в чем Максим признается, кое-что пытается свалить на Вассиана Патрикеева, заявляя, что сам он лишь повторял нестяжательские высказывания «князя-инока». На соборе происходит очная ставка между недавними друзьями. Но, хотя Вассиан и впрямь очень резко аттестовал чудотворцев-стяжателей, он на очной ставке отказался поддержать попытку Максима выгородить себя за его, Вассиана счет. Этот спор закончился очень острым препирательством, и Максиму так и не удалось доказать ту истину, которая сейчас считается бесспорной в многочисленных научных исследованиях, посвященных тому времени: что именно Вассиан приобщил Максима к взглядам русских нестяжателей.

Соборное разбирательство продолжается; Максиму доказывают, что и греческие монастыри владеют селами и крестьянами, такие же порядки и на Афоне. В этой связи Максиму напомнили, что и сам он, и представший вместе с ним перед судом русских церковных иерархов греческий архимандрит Савва привозили из Греции в Москву жалованные грамоты, подтверждавшие права греческих монастырей на земли и села. Очень краткое сообщение русских источников об этих грамотах у Максима заставило Б. Дунаева и других историков предположить, что речь здесь шла не о земельных актах, а о таинственных письмах, содержавших конспиративную политическую переписку Максима и Саввы с Турцией — свидетельство их шпионской осведомленности в секретной документации Посольского приказа. Но еще накануне алтайской находки Н. А. Казакова предположила, что речь здесь идет вовсе не о политике и шпионаже, а о землевладении греческих монастырей, что весь вопрос об этих грамотах встал на суде в связи с нестяжательскими взглядами Максима. Теперь это предположение полностью подтвердилось.

А вот что-то новое, об этом обвинении мы ничего не знали. На соборе выступил влиятельнейший в то время дворецкий великого князя Михаил Юрьевич Захарьин. Он заявил с глухой ссылкой на «многих достоверных свидетелей», что Максим Грек был в Риме, где учился у «некоего учителя». Вместе с ним «любомудрию философскому» учились более «двоюсот» других учеников, причем все они уклонились в еретичество, за что папа римский «повеле их имати и предати казнем. И оградивше и ослонявше их дровы, сожгоша их всех, токмо восмь их убежаша во Святую гору, с ними ж и Максим». (Рим здесь — страна, а не город; все биографы Максима согласно считают, что Михаил Триволис никогда не был в Вечном городе.)

Так тысячеверстные расстояния от Флоренции до Москвы и досужие пересуды московских бояр превратили казнь Савона-

ролы и двух его товарищей в сожжение целого еретического училища, присовокупив рассказ о случайном спасении самого Максима, которого сжигать никто не собирался. Историк может сейчас сделать это на редкость показательное сопоставление флорентийской реальности с московскими слухами. Конечно, и тогда, на суде, был один человек, которому было ясно, насколько далеко обвинение влиятельного дворецкого от действительности. Но Максим на соборе предпочел не ввязываться в опасный спор на эту тему даже ради исправления явных несообразностей и ошибок: выявление реальных фактов итальянской части его биографии могло оказаться для него не менее опасным, чем обвинения М. Ю. Захарьина. Ответ Максима на вопрос судей, было ли такое, весьма характерен для его осторожного поведения: «Видишь, господине, и сам меня, в какой есми ныне скорби, и беде и в печали, и от многих напастей отнюдь ни ума, ни памяти нет, не помню, господине». Так говорил автор яркой повести о проповеди и гибели Савонаролы. Обвинение не имело под рукой по этому вопросу сколько-нибудь проверенных фактов, тем более очевидцев, поэтому оно ограничилось таким ответом и не развило дальше чрезвычайно опасного для Максима расследования обстоятельств его жизни в Италии. Но обвинения Максима в еретичестве не раз повторялись затем на суде и в приговоре как доказанные.

Далее следует самое интересное — судебное разбирательство по наиболее острым обвинениям собора 1531 г. в изменнических сношениях с турками и приговор. Здесь пока почти ничего не читается, листы слиплись, надо ждать реставрации.

Но в нашей рукописи далее идет еще несколько листов, исписанных убористой скорописью. Что это? Пока можно понять лишь одно: это письма, неизвестная переписка о деле Максима Грека. Письма пишут люди весьма авторитетные: великий князь Василий III и митрополит Даниил — в 1525 г., митрополит Макарий и сведенный уже с митрополичьего престола Иоасаф — в 1548 г. Первые письма сообщают об итогах суда 1525 г. над Максимом (значит, они могут оказать помощь в попытке разделить обвинения, выдвинутые против Максима в 1525 г., когда Вассиан Патрикеев был еще в силе, и в 1531 г.). Письма 1548 г. вспоминают о суде над Максимом в связи с тем, что один из осужденных тогда вместе с ним переписчиков книг — Исак Собака стал к 1548 г., вопреки соборному проклятию, главой важного митрополичьего монастыря в Кремле — Чудовского. И далее идут материалы неизвестного ранее еретического процесса XVI в. — соборного суда 1549 г. над Исаком Собакой. К тому же оказывается, что суд этот происходил на том самом знаменитом соборе 1549 г., после которого

начались реформы Ивана Грозного. Между тем ни точный состав собора, ни его дата не были известны (в летописях стоит фантастическая дата: 29 и даже 30 февраля невисокосного 1549 г.). Еще совсем недавно, несколько месяцев назад, в наших исторических журналах развернулась полемика по этим вопросам. А вот здесь все той же четкой скорописью записан и состав собора, и его дата: 24 февраля 1549 г.

Предварительное описание сборника окончено. Для специалиста его достаточно, чтобы оценить значение находки и необходимость срочной, но крайне тщательной реставрации. И действительно, на первую же нашу просьбу быстро и деятельно откликнулись глава Археографической комиссии АН СССР С. О. Шмидт и один из старейших наших археографов, заведующая отделом рукописей Государственного Исторического музея М. В. Щепкина. Здесь не было долгой бюрократической переписки, московские реставраторы сразу же согласились вне всякой очереди отреставрировать ценную рукопись. Надо было срочно доставить ее из новосибирского Академгородка на Красную площадь Москвы. Но как? Сам я не мог бросить занятия в университете, доверить столь деликатный груз почте не хотелось. Самым надежным оказался наиболее традиционный способ — оказия. В Москву возвращался из краткой поездки в Академгородок один из историков МГУ М. Т. Белявский, лекции которого я слушал еще студентом. Ему-то я, после всевозможных наставлений, и вручил рукопись. И вскоре она оказалась в руках реставратора М. Е. Никифоровой.

Прошло три месяца. Пора и мне было ехать в Москву, внимательно смотреть всю огромную литературу по Максиму Греку, сличать найденный нами текст с ранее известным, готовить источник к публикации.

* * *

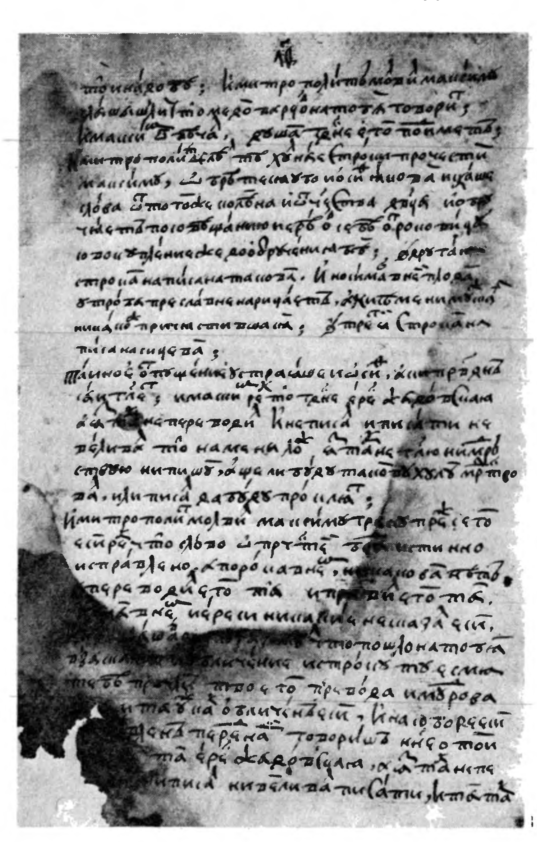
В отделе реставрации бумаги ГИМа я увидел наш сборник уже весь целиком разлепленный, листы его были освобождены от переплета и лежали аккуратной стопкой. Шла кропотливая работа по подбору и подклеиванию крохотных фрагментов листов на тех местах, где они когда-то слиплись в сплошной блок; каждый лист с обеих сторон укрепляли почти неосязаемой, но прочной микалентной бумагой. Впереди была еще не одна неделя тяжелого труда, но я упросил реставраторов позволить мне прочитать текст о Максиме Греке уже на этой стадии реставрации. После нескольких дней расшифровки кое-где ставших уже почти невидимыми строк древней скорописи я имел, наконец, перед собою практически весь текст этого интересного памятника; неразобранных или утраченных мест в конечном итоге осталось очень мало.

Уже давно было замечено, что «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком»—не подлинные протоколы соборов 1525 и 1531 гг., а их тенденциозная обработка (в пользу противников Максима), созданная в XVI в. (как нам сейчас кажется, скорее всего в 1542—1548 гг.). Но подлинные официальные тексты протоколов лежали все же в основе этого памятника, отразившего действительный ход процесса, многие мелкие подробности и важные детали. В ноябре 1548 г. митрополит Макарий, исходя из собственных интересов в борьбе с Исаком Собакой, эту обработку объявил подлинными официальными протоколами суда, найденными в государственной казне.

Итак, двойная тенденциозность: самих протоколов и их обработки. В обоих случаях—стремление доказать правоту организаторов судилища над Максимом. Может быть, как раз это слишком уж настойчивое стремление позволяет обнаружить реальное положение, снять тенденциозность. Ее замечали и раньше в дошедших частях судебного разбирательства по догматическим обвинениям—многие из них основывались на элементарных языковых неточностях человека, еще слабо владеющего русским языком.

Впрочем, иногда языковые ошибки в благочестивых текстах создавали ситуации щекотливые и соблазнительные. На суде 1531 г. соборные старцы-монахи особенно настойчиво копались в одной из таких ситуаций, связанной с ошибками в переведенном Максимом Греком «Житии Богородицы» Симеона Метафраста. В «Житии» рассказывалось, что до обручения Иосифа и Марии эта церемония была одобрена на совещании «иереев» (священников). Говоря об этом собрании иереев, Максим употребляет, называя его, применявшийся в русском языке в этом значении термин «совокупление», в результате чего получается: «и обручает Иосиф по совещанию иереев себе отроковицу, совокупление же до обручения бе». Помощники и писцы Максима, заметившие получившуюся двусмысленность, тут же сообщили об этом Вассиану Патрикееву, но тот резко ответил им, что это не их ума дело. Другой раз Максим попутал союз «яко» с союзом «аки» (как бы), и в результате опять вышло, что Мария лишь казалась непорочной. После первого суда над Максимом его помощники в нескольких списках этого перевода исправили ошибочные или сомнительные места. Но был еще экземпляр, подаренный самому великому князю. Его принесли на судебное заседание собора 1531 г. и торжественно зачитали «хульные строки» в доказательство еретичества Максима. У судей не было и мысли объяснить происшедшее тем, что Максим не сразу овладел русским языком в совершенстве. «Богохульные вины многие» Максима немедленно стали фигурировать в обвинительных речах митрополита и владык.

Еще более тенденциозным было на суде сплетение политических обвинений. Лишь сейчас, читая алтайскую рукопись, можно было оценить, как ловко построил свои самые тяжелые политические обвинения митрополит Даниил в своей вводной речи, открывшей собор 1531 г. Оказывается, никаких тайных грамот Максима к туркам у обвинения не было. Историки, которые могли раньше основываться лишь на речи Даниила,



«И митрополит велел те хульные строки прочести Максиму»

были здесь введены в заблуждение уверенным тоном этой речи. Все обвинения в изменнических сношениях с турками построены на показаниях двух лжесвидетелей, келейников Максима, обвинявшихся на суде 1531 г. вместе с ним (один из них остался безнаказанным, а другой был отдан для наказания самому Даниилу, которому он так помог на суде). Максим категорически отрицал на суде их показания, а сам ход разбирательства

выявил здесь немало несуразного в позиции обвинения: лжесвидетели отчаянно путались в показаниях, ссылаясь друг на друга и на третьих лиц, почему-то отсутствующих или даже присутствующих на соборе, но не допрошенных. Максим держался здесь стойко, защищался умело, и любое объективное разбирательство должно было бы признать крах обвинения по этим самым острым пунктам.

Однако по ряду обвинений этого комплекса Максим в конце концов признал свою вину и «добил челом» о ней великому князю. Но во всех случаях речь шла не об изменнических действиях, а лишь о весьма вольного свойства разговорах, которые Максим вел в своей чудовской келье относительно внешней политики Василия III. В кругу тех, кого он считал наиболее доверенными своими друзьями (среди них оказалось несколько осведомителей), он критиковал великого князя за робость и нераспорядительность в борьбе с Крымом, за иллюзорные надежды добиться союза с Турцией. Он все еще мечтал об освобождении Балкан от турок русским оружием. Он непростительно опережал время — на целых 300 лет.

Свои политические обвинения Даниил умело построил, сочетая эти признания Максима с заявлениями келейников Максима, которые он выдавал за доказанные факты, кое-где исказив довольно невинные показания самого Максима, перефразировав их весьма опасным образом. С удивлением следил я за всей этой механикой, достаточно ясной теперь даже в изложении составителя «Судного списка», убежденного в полной виновности Максима. Гипнотизирующая стройность обвинительных построений Даниила расползалась на глазах. Но впереди было еще много удивительного. Упорно и убедительно отстаивающий свою невиновность по обвинениям в измене, Максим почему-то не опровергал обвинений в волшебстве, волховании. Это он-то, столь решительно боровшийся во многих своих трудах с верой в магию и астрологию! Пыток к нему, несомненно, не применяли. Тем не менее он не отвергает этих, очень серьезных по тем временам, обвинений. И все тот же его келейник подробно излагает суду, как один из соотечественников наделил Максима магической способностью обращать гнев великого князя в благоволение. Для этого Максим «на своих дланех пишет слова водками, да их потрет руку о руку, да придет к великому князю и князь великий учнет говорити ему, и он учнет великому князю против того что отвечивати, а против великого князя длани своя поставляет, и князь великий гнев свой на него часа того утолит и учнет смеятися». Это уже, кроме всего прочего, обвинения и в умысле против здоровья великого князя. А Максим молчит.

Еще 40 лет назад историк С. Н. Чернов на основании речи митрополита Даниила правильно предположил, что процесс 1531 г. должен был строиться с нагнетанием наиболее острых политических обвинений к концу суда. Сейчас, когда я дочитывал полный текст «Судного списка», я видел, что эта догадка подтверждалась. Однако что-то не ладилось на этой самой высшей точке процесса, не все прошло гладко с обвинениями в измене; многое Максим отрицал или объяснял довольно невинным образом. И тогда в самом конце суда обвинение опять неожиданно вернулось к некоторым церковным вопросам, уже рассмотренным ранее: здесь Максим не только не запирался, но упорно отстаивал на суде правоту вменявшихся ему в вину высказываний. Между тем позиция его по этим вопросам не могла найти сочувствия. Максим обличал русский обычай назначать главу русской церкви независимо от константинопольского патриарха, которому формально все еще подчинялась Московская митрополия. Хотя с точки зрения церковных законов Максим был прав, восстановление этой древней зависимости противоречило ходу истории. Мечты Максима Грека о возрождении былого величия византийской церкви остались мечтами. Противоречие же между устарелым церковным законом и жизнью было ликвидировано созданием независимой Московской патриархии. Но это произошло лишь через полвека после суда над Максимом.

Демонстрацией непопулярных и устаревших взглядов Максима на порядок постановления московских митрополитов эффектно закончил Даниил процесс 1531 г. Вот прочитаны все записи этого процесса и идет изложение приговора. То, что «Судный список» должен был заканчиваться приговором, было ясно давно; вот, наконец, передо мной его текст. Это приговор не только Максиму, но и шестерым его подельникам; здесь много нового: раньше думали, что некоторым из них удалось выпутаться из этого дела, оказалось, что все они были осуждены собором. Но в приговоре отчаянно перепутаны между собой решения соборов 1525 и 1531 гг.; здесь еще придется немало повозиться, чтобы понять, к какому времени относится каждая строка приговора.

Сборник, однако, не кончается приговором. К нему приложены тексты двух писем 1525 г.— митрополита и великого князя — о деле Максима. Они направлены властям Иосифо-Волоколамского монастыря, идейного центра противников Максима, где ему теперь предстояло быть в суровом заточении. Поражает холодная жестокость этих писем. «И заключену ему быти,— приказывают митрополит и великий князь,— в некоей келье молчательне, и никако же исходящу быти... и да не беседует ни с кем же, ни с церковными, ни с простыми... но

точию в молчании сидети и каятись о своем безумии и еретичестве». Отлученному от церкви мыслителю запрещено было писать и даже читать книги, за исключением нескольких, специально отобранных митрополитом,— именно на эти книги ссылался на суде Даниил в своей полемике с Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. Надзор за Максимом поручался монаху из семейства Ленковых, знаменитых своим усердием в исполнении подобных поручений. И однако, митрополит приказывал создать систему крепкого надзора и над самим этим надзирателем — «дабы не прельщен был» Максимом.

Максим не был склонен и отнюдь не собирался «молчать и каяться». Лишь теперь смог я оценить давно известное заявление Даниила в 1531 г. о том, что Максим и в Иосифо-Волоколамском монастыре продолжал доказывать свою невиновность, обличать своих судей. Не смирился он и после второго суда.

* * *

На этом наш сборник расставался с ситуацией процессов 1525 и 1531 гг. Однако неистощимая 39-я глава сборника была еще далека от своего конца — я начал читать материалы, связанные с неизвестным ранее науке еретическим процессом 1549 г. над одним из сотрудников Максима Грека, Исаком Собакой, осужденным вместе с ним на соборе 1531 г.

Исак был известным каллиграфом своего времени, одним из творцов нового оригинального стиля книжных украшений, который позднее станет называться «старопечатным». Он переписывал некоторые из переводов Максима Грека и Вассиана Патрикеева, за что и был предан проклятию и отлучен на суде 1531 г.

Оказалось, что это не помешало сделать ему блестящую церковную карьеру. Когда в 1539 г. бурное развитие политической борьбы выбросило Даниила из митрополичьих палат в тот же Иосифо-Волоколамский монастырь «на покой», его место занял Иоасаф, близкий к нестяжателям — единомышленникам Максима Грека. Новый митрополит, подбирая себе сторонников, вспомнил об Исаке Собаке. Несмотря на соборное запрещение, он в короткий срок сделал Исака дьяконом, священником, а затем и главой крупного московского монастыря — Симоновского. Даниил из Волоколамского монастыря мог лишь со злобой следить за этим выдвижением — один из монастырских старцев уже на соборе 1549 г. очень красочно описал чувства бывшего владыки. У нас нет ни малейшего основания предполагать, что Исак или сам Иоасаф хоть что-нибудь сделали в это время для Максима, заточенного в Твери.

Случилось так, что перемены к лучшему в судьбе Максима были связаны с именем человека, враждебного Иоасафу и заменившего его на митрополичьей кафедре. В 1542 г. во главе русской церкви стал один из наиболее знаменитых ее деятелей — митрополит Макарий. Он был сторонником идей Даниила, но притом — достаточно широким и гибким деятелем. Из найденных нами материалов оказалось, что в первое время он продолжал выдвигать Исака Собаку, он сделал его руководителем привилегированного кремлевского монастыря — Чудовского. Все с большим вниманием и симпатией относится Макарий к Максиму, слава которого неуклонно растет все эти годы — годы заключения, заполненные напряженной работой по созданию все новых произведений.

Чудовский монастырь находился в непосредственном ведении митрополита, его архимандрит занимал высокое положение в русской церковной иерархии. В чем-то интересы Макария и Исака столкнулись. Наш источник не говорит — в чем, другие источники, как мы сказали, вообще молчат об этом деле. Известно, что Исак не угодил не только Макарию, но и самому Ивану Грозному — позднее в одном из своих посланий царь едко высмеял его за слишком мягкие порядки, бывшие при нем в монастыре. Но тогда, в 1548 г. царь был еще юношей, и Исак остался жить. Его устранили с полным соблюдением церковных законов.

Наш сборник так рассказывает об этом. В ноябре 1548 г. Макарий обнаружил в государственном архиве «Судный список» Максима Грека, из которого узнал, что Исак Собака был в 1531 г. осужден собором и отлучен от церкви. Во время последующих событий Макарий неоднократно подчеркивал, что, поставляя Исака чудовским архимандритом, он не знал об этом. Однако на деле Макарий должен был сам принимать участие в процессе 1531 г. Мало того, формальным поводом к проведению этого процесса был как раз переданный Макарию, тогда еще новгородскому архиепископу, донос на Максима о неканоничности его переводов.

Как бы то ни было, осенью 1548 г. началось официальное расследование — как мог отлученный от церкви Исак, не получивший прощения, стать священником и архимандритом. Завязалась переписка по этому поводу между Макарием и Иоасафом, сначала в почтительных тонах, затем — в достаточно резких. Находившийся «на покое» в Троице-Сергиевом монастыре митрополит Иоасаф в конце концов отказался дать показания по существу, сославшись на давность событий. Тогда с разрешения царя Макарий предал в феврале 1549 г. чудовского архимандрита соборному суду, который подтвердил старое отлучение и послал Исака как нераскаявшегося еретика в далекую Нилову

пустыню. Исак держался на соборе гордо, демонстративно подчеркнул, что он не собирался и не собирается просить у кого-либо прощения за дела, за которые он был осужден в 1531 г. (т. е. за сотрудничество с Максимом Греком). Если верить нашему источнику, Макарий провел собор 1549 г. с поразительной ловкостью: осуждение Исака было сделано по чисто формальному вопросу о поставлении его на высокие

Запись Ионы Думина на листе рукописи «Слова Иоанна Златоуста» из Тихомировского собрания (№ 4), л. 12 об.: «А трудов и потов много положено, как правили сию святую книгу»

посты без снятия соборного отлучения 1531 г.; о сущности споров 1531 г. не было сказано ни слова, имя Максима Грека не было даже названо на соборе 1549 г. Это вполне понятно — обстановка этого времени уже благоприятствовала тверскому узнику, его влияние признавали и царь и митрополит. Пройдет

два года, и тот же Макарий сможет уже освободить Максима.

Я дочитывал последние строки рукописи, найденной в далеком горном селе Сибири. Строки эти были посвящены перечислению участников церковного собора 24 февраля 1549 г. Вот и еще один спорный вопрос удалось решить — собор 1549 г. занялся затем важными церковными и государственными проблемами, и состав его давно волновал историков. И, как всегда, новые факты вызывали новые недоумения: среди его участников не было протопопа Благовещенского собора Сильвестра, одного из авторов «Домостроя», всесильного руководителя правительства «Избранной рады». Видимо, взаимоотношения между этим правительством и Макарием были сложнее, чем мы думали.

Таким образом, наш источник проливал новый свет на события 40-х гг. XVI в. — время юности Ивана Грозного.

Вскоре оказалось, что сборник этот важен и для историков, занимающихся самым концом XVI в. Числовая загадка в конце «Жития Александра Невского», центрального памятника сборника, скрывала имя Ионы Думина. Имя это было мне хорошо известно — оно встречалось в трех книгах XVI в. Тихомировского собрания ГПНТБ СО АН СССР. В одной из своих работ М. Н. Тихомиров рассказал о значении этого видного деятеля русской культуры для распространения печатных книг на северо-востоке России. По его заказу было написано несколько интересных рукописных сборников; мне приходилось уже описывать книги с его яркими записями. Многие из них он дарил Владимирскому Рождественскому монастырю, где он был когда-то настоятелем. Таково же было происхождение и только что найденного нами сборника. Иона, интересовавшийся Максимом Греком, составил двухтомный сборник из произведений знаменитого мыслителя. Сейчас нам известно девять рукописей, изготовленных по заказу Ионы и состоящих из сочинений Максима Грека. А теперь еще и наш сибирский сборник — опять Иона Думин и опять Максим Грек.

* * *

Как обычно бывает, новые факты — новые загадки.

Странным и необъяснимым, в частности, стало казаться включение в найденный на Алтае сборник, составитель которого явно относился к Максиму Греку с симпатией и почтением, клеветнических по сути материалов «Судных списков» об Афонце. Иона Думин немало сделал для прославления памяти Максима; как считает современный американский исследователь Хью Олмстед, эта его деятельность была прямо связана с попытками конца XVI в. укрепить авторитет Максима наиболее

бесспорным по тогдашним понятиям образом — канонизацией (провозглашением его святым). Почему же Иона помещает «Судные списки» в заказанном им сборнике? Нам известно, как тщательно отбирал сочинения, их лучшие списки, лучшие переводы Иона, когда речь шла о сборниках, созданных по его заказу — сам Иона в записях на таких книгах рассказывал, сколько «трудов и потов» стоило создание рукописи.

Уже после завершения работы по изданию текста «Судных списков» 1525, 1531 и 1549 гг., вызвавшего оживленную полемику, я задумался над тем, нет ли какой-то логики в подборе Ионой Думиным 40 разновременных сочинений для помещения в Сибирском сборнике. Поиск логики составления древнерусских рукописных сборников — увлекательное, но коварное дело. Каждое литературное сочинение может знать много прочтений, а сборник таких сочинений — тем более. Мы не можем с абсолютной достоверностью восстановить ныне весь ряд ассоциаций, возникавший у человека XVI в. при чтении какой-либо рукописи. Сочинения могли включаться в подобные сборники с целями, так сказать, общеобразовательными, энциклопедическими.

И все же чем больше я вчитывался в 40 глав Сибирского сборника, тем заметнее становилась некая общая линия основных, наиболее значительных разделов рукописи. Она так или иначе связана с теми темами творчества Максима Грека, которые решающим образом сказались на его судьбе в переломные 1525—1531 гг. жизни, вокруг которых возникли основные споры во время суда над ним. Причем тенденциозные искажения взглядов философа организаторами судилища заставили Максима Грека осветить эти взгляды в своих позднейших сочинениях. Некоторые из них помещены в Сибирском сборнике, их окружают труды предшествовавших мыслителей, содержащие сходные интерпретации сходных тем.

Это нестяжательские идеи Максима, очень важная для него мысль об обязанности философа давать этические и политические наставления правителю, отсюда — более общие проблемы отношений между государем и мудрецом, светским и духовным началом. И особенно близкое к судьбе Максима — тема столкновения государя с мудрецом, несправедливого осуждения философа.

Уже в первой, самой большой главе сборника, содержащей сочинения византийского писателя XIV в. Григория Синаита, Ионой Думиным отобраны для переписки тексты в защиту нестяжательских идей, явившихся одной из причин осуждения Максима Грека. Недавно в научной библиотеке МГУ была найдена и описана Б. Л. Фонкичем рукопись сочинений и жития Григория Синаита с собственноручными пометами и замечаниями Максима Грека.

Вторая по порядку и величине глава сборника, Житие Александра Невского в редакции Ионы Думина, может рассматриваться как обширная иллюстрация идеального случая проблемы «государь и святой мудрец»: государь сам является «святым», мудро заботящимся о сохранении чистоты православной веры, отстаивающий ее с равным умением и на поле боя и в богословском споре. (Проблемы чистоты веры и методов борьбы с ересями и неверием занимают видное место и во время суда над Максимом Греком, и в сочинениях Афонца.)

Другим идеальным примером является комплекс из четырех глав, посвященный одному из наиболее авторитетных «святых» русской церкви — Кириллу Белозерскому. Они содержат развернутые наставления Кирилла великому князю Василию I, его братьям; эти наставления касались, среди прочего, такого деликатного вопроса, как княжеские, семейные дела. И могущественные князья принимают советы старца.

Вскоре в главы сборника входит и важнейшая его тема — тема несправедливого осуждения мудреца судом нечестивых гонителей. Она является центральной для того талантливого сочинения самого Максима Грека, о котором мы уже упоминали: для эмоциональной «Повести страшной и достопамятной» о жизни и мученической кончине Иеронима Савонаролы (глава 9 Сибирского сборника). Начинается удивительная перекличка рассказа Максима Грека об осуждении нестяжателя Савонаролы и материалов «Судных списков» об осуждении нестяжателя Максима Грека. Преследовавший Савонаролу по приказанию папы Иаким «поставил его на судилище и мучителски испыташе его, и оному со дерзновением отвещающу противу всех лукавьств неправеднаго испытателя. И судии не могущу обвинити его, свидетели лживи от части беззаконных... восташа на онаго преподобнаго и неповиннаго... носяще на нь тяжчайша их и неправедных оглаголаний, им же повинувшеся неправеднии они судия сугубую казнию осудиша его».

Помещение этого страстного рассказа в Сибирский сборник можно объяснить однозначно: 7-я глава сборника подготавливает читателя к соответствующей оценке материалов 39-й главы.

Тема неправедного суда развертывается в ряде византийских материалов сборника, рассказывающих о гонениях на многих прославленных мудрецов и ученых. Открывает этот список знаменитых имен Иоанн Златоуст: в сборнике помещено известное Сказание о патриархе Феофиле и Иоанне Златоусте, рассказывающее о гонениях царя и патриарха на великого философа, смело осудившего стяжательство, об осуждении Иоанна «младоумным собором», о запрете на его книги и о снятии запрета благодаря чудесному вмешательству богородицы. Далее в сборнике следует другой общеизвестный пример

многолетних гонений праведного учителя — Житие Афанасия Александрийского и еще несколько подобных текстов.

Таким образом, можно утверждать, что 39-я глава Сибирского сборника поставлена составителем в такое окружение, которое, совпадая во многом с этой главой тематически, противоположно ей по авторской позиции. Крайняя тенденциозность «Судного списка» Максима Грека, его открытая враждебность по отношению к мыслителю, сочинения которого переписываются в сборнике наравне с сочинениями Григория Синаита, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, приобретают новое смысловое звучание от соседства с несколькими рассказами о незаслуженных преследованиях благочестивых философов. Ни одно слово, ни одна оценка суровых обвинителей Максима не пропущены и не опровергнуты, но судебная расправа над святогорским старцем поставлена в ряд столь многозначительных исторических прецедентов (осуждение Афанасия Великого, Иоанна Златоуста), что сама тенденциозность обличителей Максима оборачивается обличением их самих.

Мало того, этот эпизод русской церковной истории поднимается таким образом до уровня столь общих проблем средневекового мировоззрения, как отношение светской и духовной власти, царя и мудреца. Великие примеры, давно ставшие знаменитыми в византийской и русской литературах, оттеняют сочинения Афонца и псевдодокументальный рассказ о суде над ним. Ни одного прямого осуждения Василия III и митрополита Даниила в сборнике нет, однако подобный состав сборника подсказывает читателю не только конкретно-исторические, но и общефилософские оценки происшедшего в 1525 и 1531 гг.

Оценки эти закрепляются логическим завершением всего сборника. Его последнюю, 40-ю главу составляет известный византийский памятник VI в. «Изложение совещательных глав к царю Иустиниану, сложенных Агапитом, диаконом святейшая божия церкви». Этот классический памятник жанра наставлений правителю в XV—XVI вв. пользовался на Руси немалой популярностью. Царю Ивану Грозному особенно нравилось знаменитое определение царской власти, сделанное Агапитом: «Существом убо телесным равен человеком царь есть, властью же достоинства приличен богу, иже над всеми, ни имат бо на земли себе высочайшаго». Царю эта формулировка говорила об обожествлении царской власти, что в его реальной политике оборачивалось мероприятиями по обожествлению конкретных носителей этой власти — путь, по которому охотно пойдут русские правители XVII в.

Но царь обрывал цитату из Агапита на удобном для него месте, ибо следующая фраза дьякона была уже совершенно

иной тональности: «Подобает убо ему (царю.—*Н. П.*), яко и смертну не возноситися, и яко богу не гневатися. Аще бо и образом божиим почтеся, но перстью земною смешен есть, ею ж научается равности, яже ко всем». Поучение Агапита наполнено мыслями о том, что царь должен быть милостивым, справедливым, должен судить нелицеприятно даже своих врагов, должен слушать благоразумных советников, а не льстецов.

Последняя мысль была, как мы говорили, особенно близка Максиму Греку. Пройдет несколько лет после почтительных бесед Ивана Грозного в келье Максима, и другой почитатель Афонца, князь Андрей Михайлович Курбский, считавший себя учеником Максима, выскажет царю все, что он думает об «издревле кровопийственном» роде московских государей и деспотическом самодержавии, доведенном до безумия опричного произвола. Курбский напишет, что виною всему коварный совет, который дал царю архиерей-осифлянин Вассиан Топорков: «Аще хощеши самодержец быти, не держи себе советника ни единого мудрейшего себя». По мнению Курбского, царь воспользовался этой рекомендацией вскоре после смерти «мудрого советника» Максима Грека.

На грани XVI и XVII вв., когда создавался Сибирский сборник, заметно оживился общественный интерес ко многим излюбленным идеям и темам Максима Грека. Да и судьба его, особенно в сопоставлении со все более высокими оценками его сочинений, будила особые эмоции во времена конца «самодержавства» Ивана IV. Острые политические коллизии, столь драматично изменившие в 1525—1531 гг. судьбу беспокойного Святогорца, привлекали к нему далеко не беспристрастное внимание и тогда, когда все тяжелее ощущались последствия краха политики грозного царя и над страною уже нависла тень будущей Смуты. Ее приближение ознаменовалось, в частности, начавшимся под влиянием этого краха пересмотром некоторых идеологических установок недавнего прошлого.

Так, накануне Смуты начинает ощущаться необходимость изменений в тех двух политико-догматических сферах, проблемы коих выйдут на первый план во время церковной реформы Никона в середине XVII в. Это вопросы о соотношении русского и вселенского православия, духовной и светской власти.

Восточные славяне, оказавшиеся за пределами Московского государства под иноверной католической властью, переживают в XVI в. важный период подъема национальной и социальной борьбы, которая с конца этого века породит целый поток острых антикатолических сочинений. Борьба эта будет находить горячий отклик в Москве, а полемические украинские труды в защиту православия начнут постепенно все шире распространяться по Руси. Но с точки зрения официальной идеологии

времен Василия III и Ивана IV после падения Константинополя православие за пределами русских государственных границ является сомнительным и ненадежным. В частности, окатоличившимся, «пестрым» поклонники горделивых теорий инока Филофея о Москве — третьем Риме будут находить православие и украинцев, и белорусов, и греков. Мы помним, что несколько раз та же тема вставала и на соборах 1525—1531 гг.,— и в связи с правомерностью исправления русских книг по греческим, и в связи с вопросом о поставлении русских митрополитов в Москве. Митрополит Даниил так сформулировал позицию Максима в этом последнем вопросе: «И се убо глагола высокоумие и гордость, еже не ходити в бесерменскую Турецкую державу от патриярхов ставитися от невернаго и безбожнаго царствия в митрополиты». Теория Москвы — третьего Рима — закономерно используется против Максима Грека, и столь же закономерна его полемика позднее с этой теорией. Но тем понятнее интерес к Максиму на рубеже XVI и XVII вв., когда начинает ощущаться стеснительность этой теории для московских политических и церковных интересов, когда освободительная борьба Украины и идеологические документы этой борьбы будут встречать в Москве все большее сочувствие и поддержку. Несомненно влияние Максима Грека на творчество Ивана Вишенского — одного из самых замечательных украинских публицистов, возглавившего эту полемику. Это же относится и к активной антикатолической деятельности даже столь ненавистной для Ивана IV фигуры, как князь А. М. Курбский.

В XVII в. Россия для того, чтобы выполнить важнейшую свою миссию этого столетия — помочь национально-освободительной борьбе украинцев и белорусов,— должна была менять отношение к милым сердцу Ивана IV политическим концепциям старца Филофея. Начинался важнейший этап активного воздействия украинско-белорусской культуры на культуру великорусскую. И не случайно кульминация всех этих споров о соотношении русского и вселенского православия, о допустимости исправления русских церковных книг, об украинско-белорусском православии во второй половине XVII в. ознаменуется и новой острой дискуссией о Максиме Греке.

Вполне понятен и интерес деятелей конца XVI — начала XVII в. к взглядам Максима Грека на взаимоотношения светских и духовных властей. Учреждение в 1589 г. патриаршества на Руси завершило наилучшим способом старый спор Максима и его судей и в то же время способствовало укреплению авторитета высшей церковной власти. Тем неуместнее был обычай Ивана Грозного решать сложные проблемы отношения с церковными иерархами в прямом смысле руками Малюты Скуратова. В этой связи становится понятным интерес к

личности митрополита Филиппа Колычева, задушенного Малютой в 1569 г. Как ни стремится созданная в те годы первая (колычевская) редакция жития Филиппа старательно обойти все острые углы, это начало того пути, в конце которого будет перенесение Никоном мощей «святого мученика» в Москву и унизительная церемония покаяния Алексея Михайловича в этом преступлении Ивана Грозного. Осуждение собором, послушным воле Василия III, мудрого Святогорца могло восприниматься читателями конца XVI в. как прелюдия к трагедии Филиппа Колычева.

Таковы лишь некоторые обстоятельства, способствовавшие в конце XVI в. благородной деятельности Ионы Думина по реабилитации памяти любимого им философа. Мы видели, как в Сибирском сборнике он использовал тенденциозность «Судного списка», тенденциозность самого судилища над Максимом для осуждения самих судей.

Конечно, это осуждение скрытое, при всей его резкости. Но вряд ли иное было тогда возможно для видного церковного иерарха, лица официального, каким являлся вологодский архиепископ Иона.

* * *

Другая загадка, ставшая особенно непонятной после обнаружения Сибирского текста «Судного списка», относится к поведению Максима Грека на суде 1531 г.

Он, несомненно, не напуган судилищем, во всяком случае — вторым, 1531 г., когда прошло шесть лет его стойкого и упрямого сопротивления тюремщикам Иосифо-Волоколамского монастыря. Возможно, есть доля истины в предположении А. А. Зимина о том, что в 1525 г. Максим мог сперва надеяться благополучно выпутаться из всей этой истории. Но все следующие годы он ведет себя с удивительным мужеством. Материалы 39-й главы Сибирского сборника (и особенно письмо митрополита Даниила) впервые со всей отчетливостью показали, какой жестокий тюремный режим без права устного и письменного общения определили ему в 1525 г., и как непокорно вел себя Максим во время этого заточения. «Он же покаяния и исправления не показаваше и неповинна во всем себе глаголяше и отреченая мудръствоваше, и послания писаша»,— констатировали в 1531 г. его тюремщики.

Свои показания на соборе 1531 г. он чуть ли не начинает с крайне резких упреков в адрес митрополита. В связи с вопросом о поставлении русских митрополитов в Москве он говорит такие смелые слова о митрополите и великом князе, что никаких надежд на сколько-нибудь благополучный исход суда у него оставаться не могло. Обвинения в шпионаже,

«политической уголовщине» он разбивает, как уже говорилось, стойко и умело. Не отрекается он на суде и от своих нестяжательских убеждений, а однажды даже переходит в смелую контратаку, откровенно заявив, что он осуждал стяжательскую практику Пафнутия Боровского, признанного патрона стяжателей-иосифлян, которого вскоре после суда над Максимом 1 мая 1531 г. иосифлянское руководство объявит «святым». Максим же восклицал на суде: «Он держал села, и на деньги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутьем бил, ино ему чюдотворцем как быти?»

В то же время в других случаях он ведет себя очень странно. Это относится в первую очередь к длительному судебному разбирательству по многим догматическим обвинениям. Одной из задач, которые великий князь и церковное руководство поставили перед Максимом, когда он приехал в Москву, было очищение русских богослужебных книг от многочисленных описок и погрешностей путем сравнения их с авторитетными греческими подлинниками. На суде же ряд именно таких исправлений был вменен ему в вину и квалифицировался как явные ереси. И он, искусный языковед, не решается на суде доказывать справедливость своих исправлений, хотя сделать это предельно просто. Он уходит от прямых вопросов обвинения, на которые ему так нетрудно ответить,— молчит, ссылается на возможные описки в абсолютно правильных греческих текстах или даже пытается свалить вину на своих помощников. Те уличают его на очных ставках, и он опять молчит, к вящей радости организаторов суда. И это даже в тех случаях, когда ошибки в русских богослужебных книгах настолько очевидны, что русская церковь должна будет в конце концов согласиться с исправлениями Максима,— правда, через 120 лет после суда над ним, при патриархе Никоне (например, в символе веры). Но он не решается открыто сказать на суде об ошибке в русском тексте главного догматического документа православия и утверждает, что правка была сделана без его ведома. Михаил Медоварцев, его ближайший сотрудник, тут же опровергает это, сообщив, что исправление приказал ему сделать сам Максим в соответствии с греческими книгами.

Я неоднократно подчеркивал эту загадочную непоследовательность поведения Максима на суде, выступая в Москве и Ленинграде с докладами о «Судном списке». При обсуждении этих докладов было высказано два интересных предположения о возможных путях решения этой загадки. Вероятнее всего, оба предположения справедливы и идти следует обоими путями.

Н. В. Синицына предложила объяснять нежелание Максима ввязываться в догматические споры на суде тем, что в накаленной обстановке тенденциозного судебного разбиратель-

ства было нелегко вести дискуссию по самым сложным вероучительным проблемам православия,— Максим предпочел это сделать неторопливо и обстоятельно позднее, в большом цикле своих сочинений, написанных в ответ на обвинения.

Я. С. Лурье предположил, что Максим намеренно отказывался на суде от такой защиты, которая могла бы нанести хоть какой-то урон догматическому авторитету русской православной церкви, которую он считал главной силой, способной укрепить ортодоксальное греческое православие во всем мире; в связи с этим Я. С. Лурье предлагал внимательнее посмотреть на соотношение в творчестве Максима православной ортодоксии и идей Возрождения.

На наш взгляд, оба эти объяснения не противоречат друг другу. Максим, несомненно, не сумел бы в накаленной враждебной обстановке соборного судилища выполнить ту труднейшую задачу, которую он в конце концов решил всей огромной совокупностью своих сочинений: доказать жестоким и непримиримым тюремщикам свою правоту, сделав это так, чтобы не нанести ущерба догматическому авторитету русской церкви, но способствовать ее укреплению. Он хотел, чтобы его немалые знания, опыт, почерпнутый в греческих и итальянских культурных центрах, принесли пользу его новой родине. Это, несомненно, означало для него и добросовестное выполнение той задачи, ради которой в 1518 г. ему было предложено воспользоваться гостеприимством московского великого князя,— помочь русской церкви в борьбе с ересями, осуществить переводы тех важнейших богословских сочинений, потребность в которых так остро сказалась во время трудных идейных схваток с еретиками XV—начала XVI в. Максим был уверен, что важнейшей частью этой задачи является и сближение русского православного обряда со вселенским путем исправления накопившихся в русских богослужебных книгах неточностей по наиболее авторитетным греческим оригиналам, совершенствования перевода и т. д. Сначала казалось, что его работодатели понимают важность этой цели так же, как и он. Тем страшнее прозвучали на суде обвинения в преступной порче книг и еретичестве, перечеркивающие все его дело. В написанных после суда сочинениях он будет доказывать свою правоту по основным вопросам судебного спора. Но в двух второстепенных случаях он в этих сочинениях, явно заботясь о сближении русской и греческой церквей, пойдет за русским, а не за греческим обрядом—в вопросах о двуперстии крестного знамения и о произнесении «Аллилуйа» в молитвах дважды, а не трижды. Через век, во время никоновской реформы, именно эти вопросы станут причиной ожесточенного спора, а имя Максима станет популярнейшим в старообрядческой среде.

Теперь об идеях Возрождения и православной ортодоксии в творчестве Максима. Хотя в его русских сочинениях немало важных строк, выдающих мыслителя Возрождения, это относится прежде всего к методу, приемам научной критики, арсеналу фактов из античной истории и литературы. А вот как раз идеи совсем иные, враждебные духу Возрождения — защита ортодоксальных догм православия, причем и цитируемым античным авторам достается немало. Его еще в Италии испугало безбрежное «самовластье разума» у итальянских гуманистов, и он вполне искренне захотел ограничить его твердыми догматами веры, победить легкость нравов позднего Возрождения проповедью христианской аскезы (в этом несомненное влияние Савонаролы). Посвятив дальнейшую жизнь свою защите православной ортодоксии, он не мог не видеть в московской церкви наиболее значительную реальную силу, способную на деле поддерживать незыблемость православных догм. Сначала он даже настойчиво рекомендовал московским властям перенять успешный опыт испанской инквизиции в деле обеспечения чистоты веры; лишь Вассиан Патрикеев убедил его оставить эти мысли.

Отнюдь не эти стороны его творчества стали наиболее важными для истории русской культуры, а как раз то, что проникало в его произведения вопреки этой тенденции.

Значение трудов Максима Грека в истории русской культуры велико; но не как глашатай идей итальянского гуманизма, Возрождения явился он в Россию. Он был призван сюда, чтобы помочь церкви в борьбе с теми самыми русскими ересями, которые нынешние исследователи все увереннее называют главным элементом в ситуации русского «предвозрождения» и гибель которых, по мнению Д. С. Лихачева, не позволила развиться этой ситуации в русское Возрождение. Максим Грек активно и умело вел борьбу с еретиками и прочими врагами православия, применяя лучшие из известных ему методов полемики, критики, широко заимствуя достижения филологии Возрождения, опираясь на большой круг произведений византийской литературы, не раз вспоминая и античных философов, писателей. Делал это он с ревностным желанием укрепить идеологическую силу и авторитет православия, и прежде всего русской церкви, огромную реальную мощь которой он видел и приветствовал. Соборных старцев раздражало и его осуждение роскошной, богатой жизни церковных иерархов, далекой от принципов христианской аскезы, и его нестяжательские убеждения, ненависть к феодальному монастырскому землевладению, его наивная надежда в интересах самой же церкви «исправить» церковную жизнь с позиций, близких к проповеди Савонаролы. Они лучше самого Максима видели, что именно здесь он подчас

смыкается со столь ненавистными ему еретиками, также выступавшими против земельных и прочих богатств церкви, обличавших нравы церковных иерархов. И недаром дворецкий Захарьин обвинил на суде Максима, что в Италии католический его учитель, сожженный папой (Савонарола), обучил его «жидовской ереси». Против иудаизма Максим Грек не раз выступал со строго ортодоксальных позиций. Но в русской ереси «жидовствующих» было немало ярких нестяжательских черт, близких к идеям Савонаролы и Максима.

Соборные старцы с крайней подозрительностью вчитывались в сочинения Максима, в которых он искренне и квалифицированно отстаивал основы православной догматики. Из лингвистических ошибок и описок они конструировали «максимовы многия хулные ереси». (Точно так же из вольных размышлений о внешней политике Василия III они создавали протурецкий шпионаж Максима.) Под влиянием теории о превосходстве московского православия над греческим, теории Москвы — третьего Рима они инкриминировали Максиму то умелое исправление русских богослужебных книг по греческим, для которого его вызвали в свое время на Русь.

Соборных старцев страшили методы, которыми Максим стремился укрепить боеспособность московского православия в борьбе с ересями, католицизмом, лютеранством, магометанством, иудаизмом. Но если отбросить фальшивые обвинения Максима в еретичестве, то кое-что в этом страхе можно будет понять. «Чудовская академия» Максима была явлением новым и пугающим. XV в. уже приучил церковное руководство со страхом всматриваться в любые широкие богословские споры — не было еще достаточно проверенного аппарата идеологического контроля, за ними всюду чудились ереси и подрыв церковного авторитета. Максим и не помышлял о подрыве идеологической монополии церкви, наоборот, стремился к ее укреплению; но его аргументы и методы были новы, его эрудиция (и не только богословская) превосходила знания многих осифлянских (стяжательских) владык. А мысль о том, что церкви придется вскоре вести идеологические бои на этом новом, более высоком уровне и что знания Максима тогда очень пригодятся, — эта мысль была доступна не всем. То, за что ратовал Максим (и что частично было на Руси известно и до него), — более широкое привлечение сочинений византийских философов, а изредка даже мыслителей античного мира, хорошее знание католических и прочих противников, применение методов лингвистической критики, научной текстологии — все это под пером Максима укрепляло авторитет православной ортодоксии. Но так ли будет всегда? Не спокойнее ли без этих новшеств?

Здесь очень интересна параллель с другим новшеством.

Через три года после того, как митрополиту Макарию удалось наконец освободить Максима из 26-летнего заточения, «в лето 1554 начато бысть печатание книг на Москве при митрополите Макарии». Умный и высокообразованный глава русской церкви, конечно, хорошо видел всю пользу этого важнейшего новшества; понимал он, как ценно для страны, в храмах которой часто не хватало богослужебных книг, получить сразу тысячи экземпляров «Триоди постной», «Евангелия», «Апостола». Да еще с единым, тщательно выверенным текстом — вместо многочисленных описок в рукописях. Введение печатных книг в церковную практику отвечало непосредственным интересам церкви. Ну, а что можем сказать теперь мы, из далекой перспективы XX в., о конечном соотношении революционизирующего влияния печатного станка и идеологической монополии православной ортодоксии?

Вспомним, что энтузиазм Макария по поводу книгопечатания разделяли далеко не все. Конечно, они не думали о далеких последствиях этого события. И дело не в одной лишь боязни переписчиков книг остаться без хлеба — переписка книг расширялась на Руси и во второй половине XVI, и в XVII в. Дело в самой обычной, понятной средневековой осторожности перед лицом невиданного новшества, хотя как будто и во славу церкви творимого.

Но вернемся к Максиму. На суде он оказался в отчаянно сложном положении. Его судила та сила, службе которой он посвятил себя. В которую верил, как в главную опору мирового православия и будущую освободительницу Греции. Которой он настойчиво и квалифицированно советовал, что и как следует делать в ее же интересах. Церковь в 1525 и 1531 гг. не приняла этих советов «неведомаго и незнаема человека, новопришедшего ис Турецкие земли» (так аттестовал Максима митрополит Даниил), и сочла его советы крайне подозрительными. Максим яростно защищается на суде против многочисленных ложных обвинений, но в догматических вопросах он чаще всего не решается открыто посягать на богословский авторитет собора, олицетворявшего высшую власть в русской церкви. И позднее, в заточении, упорно настаивая на своей полной невиновности, он будет с подчеркнутым почтением относиться к догматическому авторитету русской церкви, и к «богохранимому» московскому самодержавию, провозглашать (как и на суде) единство греческого и русского православия.

В определенном смысле можно сказать, что Максим одержит нелегкую победу в этой трудной игре. За двадцать шесть лет заточения, нимало не подчиняясь соборным требованиям о молчании, покорности и раскаянии, он убедит тюремщиков в своей дружбе и полезности. Правда, вернуться на Афон ему так

и не разрешат, несмотря на все его просьбы, несмотря на ходатайства вселенских патриархов. Но его догматические и полемические сочинения оценят, они будут приняты церковью и государством, рекомендованы верующим для чтения, будут, наконец, признаны в качестве полезного оружия в борьбе за чистоту веры. Нестяжательские мысли и обличения Максима будут по душе Ивану Грозному. Максим сможет создавать все новые сборники, все новые редакции собрания своих сочинений, и влияние их будет расти и в XVI и в XVII вв. Последствия этого влияния многообразны и противоречивы, но это особая тема.

Новые филологические методы, приемы полемики, пропагандируемые Максимом, новые авторитеты, чьи голоса звучали со страниц самых ортодоксальных его сочинений, оказались в России первой половины XVI в. достаточно пугающими, чтобы обеспечить упрямому афонцу два отлучения и четверть века заточения.

И вместе с тем острая необходимость в его сочинениях и методах будет все сильнее ощущаться уже в XVI в., а предложенные им принципы и общее направление книжного исправления осуществятся в конце концов в церковной реформе середины XVII в.

Он пришел слишком рано и поплатился за это суровым осуждением и тяжкими годами неволи. Но он пришел вовремя, чтобы увидеть в конце жизни завоеванную упорной борьбой победу и начало своей долгой славы.

ГЛАВА 5

СКВОЗЬ СТРОЙ

«Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад...

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым».

Знаменитый толстовский рассказ «После бала» повествовал не только о чудовищной бесчеловечности наказания шпицрутенами, оборачивавшегося зачастую мучительнейшей смертной казнью. Он ставил истинно толстовские вопросы об ответственности за муки ближних, о том, что их невозможно оправдать никакими «высшими соображениями», об очищающей силе сострадания. Он говорил о лицемерии барской культуры николаевского общества и о том, что незамутненная совесть случайного свидетеля экзекуции заставила его отказаться от военной службы, от любой службы царю, ибо это служба силам зла.

Толстой не раз возвращался к этой теме лицемерия общества, допускавшего и оправдывавшего убийство шпицрутенами — в «Посмертных записках старца Федора Кузмича», в статье «Николай Палкин», в дневнике; в «Хаджи Мурате» с убийственной откровенностью рассказывается о жестоком лицемерии самого царя, приговорившего поляка Бжезовского вместо смертной казни к 12 000 шпицрутенов: «Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни».

В основу рассказа «После бала» (написанного по просьбе Шолом-Алейхема для сборника в пользу пострадавших от погрома в Кишиневе евреев) был положен эпизод из жизни брата Толстого, Сергея Николаевича, увидевшего в Казани экзекуцию, которой руководил отец любимой им девушки. В рассказе подобное событие излагается от лица некоего Ивана Васильевича, которого жуткое зрелище наказания беглого солдата-татарина заставило в конце концов отказаться и от любимой девушки, и от служебной карьеры. Иван Васильевич рассказывает об этом в подтверждение того, что человек независимо от среды может «сам по себе понять, что хорошо, что дурно». В центре внимания автора — переживания Ивана Васильевича, и экзекуцию мы видим его глазами. Что думал, что чувствовал забиваемый насмерть наказуемый — мы не знаем, Толстой не решается писать об этом; Иван Васильевич расслышал лишь два слова, которые татарин обращал к солдатам: «Братцы, помилосердствуйте» («но братцы не милосердствовали», ибо милосердных тут же избивал полковник).

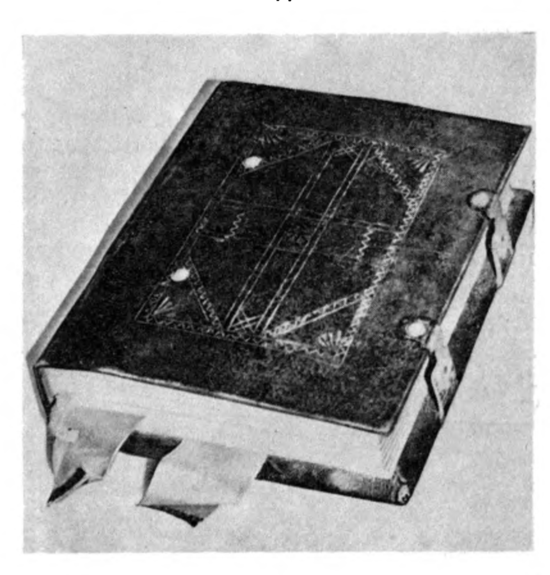
Рассказ Л. Н. Толстого был написан в 1903 г. В 1977 г. экспедиция опытных археографов Е. И. Дергачевой-Скоп и В. Н. Алексеева привезла из Красноярского края в Новосибирск рукописную книгу 1880-х гг., переплетенную в доски, с двумя медными застежками, восемью медными же спнями и сложным рисунком тиснения. В книге четким полууставным почерком был записан подробный рассказ одного из шести оренбургских казаков, прогнанных в 1854 г. сквозь строй. Его рассказ об экзекуции, как и рассказ Ивана Васильевича, подчиняет повествование о страшном наказании высокой этической и философской цели, осуждению мира зла. Но в одном случае перед нами толстовское мировоззрение, а в другом — народное, выраженное традиционным языком эсхатологии.

Привезенная книга состояла из двух памятников. Первый, повествовавший о мучениях оренбургских казаков, имел заглавие: «Повесть дивная и зело душеполезная, в ней же подробну писана житие и страдание, труды и поснеческия подвиги святых новых мученик и исповедник последняго времени».

Повесть эта была написана на 231 листе в 4° одним и тем же почерком. Бумага во всей книге также одна, со штемпелем «Успенской фабрики, № 6», в фигурном картуше (по справочнику С. А. Клепикова — 1880-е гг., № 209). Текст «Повести» не окончен, оставлено еще несколько десятков чистых разграфленных листов, после которых на такой же бумаге тем же почерком переписан на 24 листах очень популярный в народной среде памятник византийской литературы «Житие и страдание святыя великомученицы Екатерины девы премудрыя». Воспринятая древнерусской литературой житийная традиция, ставшая

образцом для подражания в народной старообрядческой письменности, оказала несомненное влияние на автора повести о мучении оренбургских казаков, наказанных шпицрутенами в 1854 г., в «последнее время» воцарившегося на русском престоле антихриста за категорический отказ служить этому антихристу.

Повесть была написана как житие одного из наказанных,



Внешний вид сборника «Повести дивной»

Владимира Трегубова, который остался жив и стал впоследствии одним из авторитетных скитских старцев Алтая. Она насыщена реальными именами, фактами; многие события, из числа упомянутых в ней, очень важные в той системе ценностей, которая была принята в этом сочинении, для любых официальных источников были столь незначительны, что не имело никакого смысла искать в этих источниках упоминания о них (например, многие житийные чудеса, связанные с повседневными деталями арестантского быта, как, например, наложение на Владимира промыслом божьим в каторжной тюрьме более свободных оков, удобных для побега). Но кульминация «Повести» — военный суд и наказание шпицрутенами должны были как-то отразиться в официальных документах; тем более, что автор «Повести» сообщал, что делом занимался сам царь Николай I, которого обвиняемые аттестовали военному начальству как антихриста.

Конечно, утверждения повести о том, что дело решалось на

столь высоком уровне, могли оказаться понятным преувеличением. Но в любом случае стоило предпринять поиск в архивных фондах военных ведомств николаевской империи.

* * *

Центральный Государственный военно-исторический архив. Он расположен в прекрасном памятнике московской архитектуры XVIII в.— в Лефортовском дворце. И хотя в феврале 1982 г., когда я появился там, трудоемкая реставрация обширного здания была еще в самом разгаре, уже прекрасно было видно, как выигрывает дворец в результате кропотливой работы реставраторов, как все яснее проступают неповторимые черты светской архитектуры «осьмнадцатого столетия».

Удобный, вполне современный читальный зал архива почти безлюден — резкий контраст с крайней теснотой переполненного десятками исследователей главного «феодального» архива страны — Центрального Государственного архива древних актов, где работники читального зала едва успевают подавать исследователям затребованные дела.

Моя ежегодная командировка в московские архивы была на самом исходе, и я истратил более чем предполагал времени на разгадывание в ЦГАДА огромного ребуса — «разбитого» (т. е. с перепутанным порядком листов) столбца Сибирского Приказа в 418 листов, содержавшего новые важные сведения о присылке в конце XVII в. в Сибирь более тысячи книг, включая сотни учебных. Времени на ЦГВИА оставалось совсем в обрез.

Естественно, что начинать надо было с фонда 1445 — войскового штаба Оренбургского казачьего войска, ведь подсудимые были казаками. Однако оказалось, что в нужной мне описи фонда значилось только четыре дела; правда, три из них относились к суду над разными казаками-старообрядцами, но все эти судебные расправы происходили несколько позднее, в 1860-е гг. и к нашей «Повести» прямого отношения не имели.

Оставался другой, гораздо более сложный путь: фонд главного военно-судного ведомства империи, Аудиториата (ф. 801). Дело в том, что этот колоссальный фонд, насчитывавший более полутораста тысяч единиц хранения, имел крайне сложную структуру и систему описей. Описи обычные, алфавитные, по столоначалиям, по связкам дел, различные описи описей. «Повесть» сообщала имена и фамилии пяти из шестерых главных обвиняемых (Максим, Петр, Владимир Трегубовы, Евдоким Кокушкин, Иван Крылов) и одного из второстепенных (Роман Горячий; позднее оказалось, что в деле он проходил под другой фамилией — Киселев). Поиск этих имен в десятках тысячелистных описей занял бы не один месяц. Без помощи человека, хорошо знающего фонд изнутри, было не обойтись.

К счастью, именно таким человеком оказалась заведующая читальным залом архива Надежда Павловна Жуковская. Она принесла мне тоненькую опись описей, с помощью которой я за полчаса выбрал из нескольких сотен алфавитных описей дюжину наиболее перспективных. Вскоре они были на моем столе. Каждая из них охватывала дела определенных столоначалий за несколько лет, они содержали в алфавитном порядке перечень лиц, упоминавшихся в заглавиях дел. Я искал по каждой из них все известные мне имена. Как нарочно, лишь в последней удалось найти строчку: «Трегубов, казак из раскольников»; сведения о нем в алфавитной описи оказались почему-то гораздо более скудными, чем обычно — я не знал ни имени, ни даты, ни места. Но выбирать не приходилось, надо было тянуть за эту ниточку. Алфавитная опись не позволяла еще выяснить полный настоящий шифр дела (без чего его нельзя было найти), но она указывала столоначалие, номер связки и дела. Их надо было разыскивать по нескольким основным описям фонда, указанным на переплете алфавитной описи. Я пересмотрел все эти описи — и неожиданно ничего не нашел. Не было вообще ни одного дела нужной мне 91-й связки — описи либо кончались на 90-й связке, либо начинались с 92-й.

Я сообщил Надежде Павловне о неудаче и она решила испробовать другой путь: посмотреть еще по одной описи описей, какие основные описи могут относиться за 1854 г. к известному уже нам столу — второму. Удалось выявить только одну еще не просмотренную нами основную опись — 102-ю. В четыре руки мы начали листать ее, перебрали 1091 лист, вот уже и заключительная архивная запись: «В настоящей описи 1091 лист, из них...» — и ничего.

Но что это? Уже после этой записи в конце огромного тома приплетено еще несколько листов. И на первом же из них читаю:

«Связка 91.

Дело 136.

„О раскольниках, казаках Оренбургского казачьего № 10-го полка Усть-Уйской станицы Трегубовых, Крылове и Яковлеве и канонире № 18 казачьей батареи Кокушкине, которые за неповиновение и упорное отрекательство исправлять общественныя обязанности и службу по казачьему положению наказаны шпицрутенами и сосланы в каторжную работу и о распубликовании по Оренбургскому казачьему войску, что поименованные казаки суждены и наказаны не за раскол, но за явное неповиновение начальству и за дерзкое отрекание от службы царской“».

Правда, тут же Надежда Павловна несколько умерила мою шумную радость, заметив, что против дел этой связки в описи

нет пометок синим карандашом, которые обозначали наличие дела при какой-то давней проверке фонда: дело могло не сохраниться.

Но даже в этом случае приведенные выше строки свидетельствовали о многом: событие, описанное в «Повести», не вымышленное, действующие лица, обстоятельства дела и приговор, указанные в ней, соответствуют реальности. Особенно важно было то, что подтверждалась главная причина происшедшего: «...дерзкое отрекание от службы царской» оренбургских казаков.

Ценной оказалась и точная географическая привязка событий, совпадавшая с «Повестью»: речь шла об одном из главных районов Крестьянской войны 1773—1775 гг., где пугачевские традиции были свежи в народной памяти; недаром именно в оренбургских местах Пушкин небезуспешно искал следы этих традиций.

Надежда Павловна через день позвонила мне в ЦГАДА и сообщила, что по найденному нами шифру дело отсутствовало и давно уже значилось среди утраченных. Правда, сказала она, дело разыскивается все же работниками архива в других местах, но надежды мало. Однако уже через час она позвонила опять и сообщила, что дело все-таки нашлось. Еще через час я был в Лефортовском дворце и держал в руках тоненькую папку с 16 листами документов. На синей обложке четким писарским почерком было выписано: «По отношению директора Канцелярии Военного министерства о преступном направлении духа между раскольниками Усть-Уйской станицы. Началось 21 июля 1854 г. Кончилось 2 декабря 1854 г.» Внизу более начальственным почерком значилось определение дела: «Мелочное». Всего лишь четыре жизни нижних чинов — какая мелочь!

* * *

«Повесть» оказалась права: «мелочным» делом занимался сам государь. Даже дважды. Подробностей было куда меньше, чем хотелось бы — на столь высоком уровне большинство из них представлялись тогда несущественными. Но то, что, по мнению докладывавших царю, составляло стержень дела, важно и для нас. И, конечно, следовало использовать уникальную возможность сопоставить позицию царя с тем, как ее представляли наказанные.

24 июня 1854 г. генерал-адъютант Перовский, командир Оренбургского казачьего корпуса и генерал-губернатор Оренбургский и Самарский написал отношение в Военное министерство, вокруг которого и сформировалось дело Аудиториата.

Перовский сообщал, что в великий пост 1854 г. станичное правление Усть-Уйской станицы, «имевшее наблюдение» за

обязательным исповедыванием и причащением казаков, столкнулось с решительным отказом от этих церковных треб казаков Петра и Владимира Трегубовых, Романа Киселева, Ивана Крылова, Алексея Яковлева и Никифора Новгородова. Тот факт, что за семь лет до отмены крепостного права военные власти так живо интересовались церковными делами, не должен вызывать удивления. Еще действовали (и долго еще будут действовать) законы петровского времени, согласно которым именно таинство церковной исповеди является наилучшим полицейским средством для выявления раскольников, которые квалифицировались как «лютые неприятели, и государству, и государю непрестанно зло мыслящие». Отказ от обязательной церковной исповеди мыслился поэтому как полновесная улика, делающая отказавшегося «подозрительным к расколу».

Поэтому если бы даже названные выше оренбургские казаки ничего больше не совершили, они неминуемо должны были попасть в поле зрения властей. Если бы при этом определили, что протест их носит исключительно антицерковный характер и лишен политических мотивов, их все равно предали бы суду — инквизиционному церковному суду, который определил бы наказание; для исполнения последнего их опять передали бы в военные руки. Эти основные нормы петровского законодательства, хотя и несколько смягченные в «просвещенное» время Екатерины II, были основой жестоких преследований старообрядцев при Николае I.

Но усть-уйские казаки кроме отказа от исповеди успели сделать немало иных вещей, полностью подтвердивших обоснованность подозрительного отношения царя к расколу. Старший брат Трегубовых — Максим, уже находившийся под судом за принадлежность к старообрядчеству, вскоре отказался от несения казачьей службы, объяснив это в станичном правлении тем, что «служить намерен одному только царю Небесному, а Земному не будет и знать его не хочет». Четверо из упомянутых выше шестерых казаков тут же присоединились к этому заявлению, детализировав причины отказа от службы земному царю, который «не внял истины от предания святых апостолов и принял трехперстное сложение креста и брадобритье»; Роман Киселев и Никифор Новгородов заявили, что «нести службу его императорского величества не отрекаются».

Перовский страстно доказывал, что неповиновение казаков — дело очень опасное, что вся станица, где много раскольников, с волнением ожидает его исхода и может целиком перейти в раскол, что случай этот требует «скорых и строгих мер». Несмотря на выражение арестованными казаками старообрядческих взглядов, генерал-губернатор счел их протест не столько духовным делом, сколько дерзким нарушением воин-

ской дисциплины, да к тому же в военное время — шла Крымская война. Поэтому он требовал судить их не духовным судом, а военным, без «формального изследования», которое могло бы задержать поучительное возмездие; приговор также следует привести в исполнение без малейшего промедления.

Именно по поводу этих судебно-процессуальных вопросов Перовский и запрашивал военное министерство. Последнее же предоставило эту проблему решению самого царя. 22 июля 1854 г. «за военного министра генерал-адъютант Катенин» сообщил Перовскому, что на предложение последнего о «скором и строгом» военном суде его императорское величество «изволил отозваться: „Справедливо, зло надо остановить в начале“».

Реально эти августейшие слова, начертанные карандашом на тексте предложений Перовского (и как положено, бережно покрытые затем воском, дабы императорская мудрость сохранилась в веках), означали мучительную смерть для большинства ослушников, но царь не входил в детали, не определял конкретного наказания. В этом и не было особой необходимости, видимо, Николай I и так был уверен, что оренбургский генерал-губернатор, выступивший с такими разумными предложениями, сделает все как надо.

Второй раз государь вернулся к оренбургскому делу 1 сентября 1854 г., дабы извлечь из него более общие выводы и рекомендации. Они полностью совпадают со взглядом Перовского и углубляют этот взгляд. На «всеподданнейшем докладе» о «дерзостях и неповиновении начальству» оренбургских казаков (текста доклада в деле нет) Николай I наложил следующую примечательную резолюцию:

«При всяком нарушении подчиненности, не входя в разсмотрение, Православный ли, раскольник ли, или Магометанин, судить и наказывать по всей строгости законов *собственно за неповиновение»*.

От этого общего принципа государь изволил обратиться к детали, но существенной — к бороде, столь почитаемой у старообрядцев. Именно петровский принцип брадобрития, отстаиваемый Николаем I, оренбургские казаки упоминали в качестве важного доказательства того, что правящий император «не внял истины». Хотя спор со старообрядцами о бороде насчитывал к тому времени уже две сотни лет, погружаясь подчас в самые глубины богословия в связи с догмой о сотворении человека по образу и подобию божию, государь сумел найти новый, решающий аргумент из наиболее серьезной для него сферы — обмундирования:

«Бороды носить дозволить только старикам, и то в виде снисхождения и таковых не производить даже в урядники, но

всем моложе 50-ти лет бороды брить, по той причине, что оно по форме обмундирования не следует».

Все истины, высказанные в два приема Николаем I по делу оренбургских казаков, были сообщены министерством не только Перовскому, но и ряду высших военных чинов империи. Значительную часть архивного дела занимала документация по проведению этого мероприятия (включавшая и рассмотрение жалоб обойденных, жаждавших официально узнать императорские слова). Кроме этих бумаг, в деле имелся еще один документ: доношение Перовского военному министру, отправленное 4 ноября 1854 г. и сообщавшее о приговоре шестерым ослушникам (Романа Киселева и Никифора Новгородова здесь, естественно, нет: их дело передано в церковный суд. Зато впервые упоминается присоединившийся к пятерым главным обвиняемым канонир Евдоким Кокушкин):

«Раскольники казаки Оренбургского казачьего № 10 полка Усть-Уйской станицы Максим, Петр и Владимир Трегубовы, Иван Крылов и Алексей Яковлев и канонир № 18 казачьей батареи Евдоким Кокушкин по двум военно-судным делам и по собственному сознанию изобличены в дерзком неповиновении Высочайшей воле и приказаниям начальства, в упорном отрекательстве исправлять общественныя обязанности и службу по казачьему положению.

За таковыя преступления, признавая поименованных подсудимых казаков недостойными оставаться в казачьем сословии, я на основании высочайшего повеления... от 22 июля сего года за № 3678-м конфирмациею определил: лишив их всех прав состояния, наказать шпицрутенами чрез тысячу человек по три раза и сослать в Сибирь в каторжную работу на 12 лет».

Перовский приказывал далее, в полном соответствии с царской резолюцией от 1 сентября 1854 г. объявить по Оренбургскому казачьему войску, что обвиняемые наказаны отнюдь не за их религиозные убеждения, а за неповиновение начальству. (Авторы «Повести» этой императорской концепции категорически не приняли.)

Сквозь строки сухого официального документа проглядывает явное удовлетворение: генерал-губернатор доволен тем, что его идея устрашающей строгости была признана справедливой самим царем и нашла соответствующее воплощение — в суде, приговоре, экзекуции.

О том, что не все наказуемые вынесли «гоняние сквозь строй», в деле — ни слова.

Таков взгляд на происшедшее сверху, с самого верха военно-экзекуционной машины николаевской империи.

* * *

«Бысть в лета наша, в некоем граде бе некий человек благонравен и кроток и страннолюбив, имеяше же и подружие подобну себе, такоже благонравну, кротку и милостиву, и оба боящася бога, в церковь часто хождаста...»

Неторопливо и торжественно начинает свой рассказ о тех же событиях пространнейшая «Повесть дивная», показывая уже первыми этими словами, в каких жанровых и идеологических канонах будет строиться все дальнейшее изложение. Эти каноны имеют за собою многовековую литературную традицию — традицию житийную, агиографическую. Именно так полагалось начинать рассказ о жизни святых, мучеников за веру — со слов о благонравии и благочестии родителей будущего святого.

Правда, уже с первых строк выяснилось, что не так просто сочетать обобщающие этикетные требования житийного жанра с биографическими реалиями: родители Владимира Трегубова не придерживались «истинной» старой веры, и в «Повести» (как, впрочем, и в некоторых ранневизантийских житиях) сразу же за словами о набожности родителей святого приходится помещать уточнение о том, что настоящей веры им не дано было познать, что их вера была ложной. «Занеже бяху нравом проста и разумом не хитра, того ради ничесому же иному не внимающе, но со усердием вся богоотступническая предания исполняюще»,— объясняет это автор повести.

Увы, лучше бы он оставил всю эту ситуацию без подобного объяснения — ведь были раннехристианские святые от языческих родителей. А так сразу же можно видеть, что не очень уж твердо знает он все тонкости той традиции, которой стремится следовать,— ведь еще Аввакум и его сподвижники не раз в борьбе со своими высокоучеными противниками любили подчеркивать и всячески обыгрывать слова Христа и апостола Павла о том, что именно простым, бесхитростным, нищим духом господь открывает истину и царствие небесное.

Сразу же после этого объяснения «Повесть» в прежнем торжественном стиле сообщает, что родители передали свое благонравие своим троим сыновьям и дает многословную, наполненную житийными оборотами характеристику каждого из них.

Эти страницы важны для исследователя не только своими реалиями, но и тем, что подтверждают приведенные в двух предисловиях к «Повести» сведения об обстоятельствах ее создания. Там говорилось, что «в нынешнее последнее время», «отчаянное и безнадежное», память о подвиге шестерых мучеников «нача тмою покрыватися и лютым неверием во глубине забвения потоплятися». Поскольку к этому времени лишь один из них (Владимир) остался жив и верен своим убеждениям,

«скитаяся в горах и пропастех земных» (его «подруг» Алексей «внезапу... с пути правого совратися»), было решено записать, пока не поздно, историю их мученичества: «Изволися общему собору таковый совет составити, еже бы память великих светилников писанием возобновити». Речь, скорее всего, идет об «общем соборе» того алтайского скитского центра во главе с Владимиром, на истории создания которого обрывается «Повесть». Отсюда следует, что она записана уже спустя значительное время после экзекуции 1854 г. со слов Владимира. Авторская правка тем же почерком на страницах рукописи говорит в пользу предположения о том, что привезенная из экспедиции книга является именно той, которая создавалась по решению «общего собора», а не неоконченной копией с протографической рукописи.

Этому представлению о создании памятника соответствует и датировка бумаги по штемпелю 1880-ми гг., и начальный рассказ «Повести» о трех братьях Трегубовых: он несомненно сделан со слов Владимира (это неоднократно подтвердится и в дальнейшем), носит следы былых внутрисемейных отношений — например, неприязни Владимира к жене Максима и, наоборот, его расположение к жене Петра; в то же время рассказ делается явно по памяти спустя многие годы, даже в обозначении возраста братьев Владимира допускаются ошибки. По «Повести» в «годину познания истины» (т. е. в 1853 г., если верить не очень точным в этой части хронологическим выкладкам «Повести») Максиму, Петру и Владимиру было соответственно 40, 30 и 25 лет, а по документам оренбургского военного начальства им в 1854 г. было 45, 37 и 26 лет.

Все три брата были женаты, у Максима было семеро детей, у Петра трое, у Владимира двое.

В этой первой характеристике братьев, несмотря на стремление автора «Повести» подражать торжественному и обобщающему житийному стилю, немало реальных бытовых подробностей. Сообщается, например, что Максим не только сам был неграмотен, но «и еже слыша чтущих — не разумеваше», что второй брат был «взором перваго яснейший, и речию краснейший, и телом быстрейший».

Но характеристика главного героя, Владимира — сплошной торжественный панегирик, где автор стремится продемонстрировать все красоты стиля, которым научили его образцы древнерусской и старообрядческой книжности:

«А третий же брат их бе леты онех младейший, а разумом и смыслом острейший. Юности бе плоти своея аки дивный виноград цветяше, а в разуме же яко красная девица в царском чертозе седяше. Мужеством плоти своея по закону царскому вся воинския хитрости прохождаше, а духом же аки высокопар-

ный орел на высоту небесную возлеташе. И сердечныма очима вся доле плежущая ясно обзираше и вся многохитростныя прелести суетнаго мира сего со удобьством разумеваше. И таковыя ради остроты разума его и душевнаго устроения всеми чтим и любим бяше, понеже бо он во всякое время и на всякое дело благопотребен бываше, в пирех благоприятен, в беседах благоуветлив, в советах благостроен — сицеваго ради его благолепия всеми чтим и любим и от всех восхваляем. Воини почитаху его, яко великаго воеводу, а градстии людие и вельможи яко славнаго властелина того почитаху, простии же человеци аки грознаго судию его имеяху, а разумнии же яко премудраго философа того познаваху. И вси от мала даже до велика со удивлением к нему притекаху и сладкия беседы и медоточных словес в сладость послушаху».

Далее подобным же образом восхваляются его христианские добродетели и аскетические подвиги, причем особо подчеркивается его богоизбранность («...от юности сотворися чист сосуд духу святому», «от чрева матерня осенен бысть благодатию духа святаго»), его ранняя грамотность и усердие в чтении, «чтяше бо паче жития святых отец и поучения, такоже и мученическая страдания».

С первых же страниц «Повести» торжественно декларируется, что «сие же все строяшеся не просто, ниже туне, но по благоволению божественнаго промысла», который именно Владимира готовил для особой миссии на земле в последнее время царствующего антихриста: обличать антихриста и своим мученичеством увенчать отказ от службы ему, проповедуя истинную, а не казенную веру.

Несомненно, что именно в подобном идеологическом контексте вспоминает лет через 30 почитаемый алтайский старец события 1854 г., таков смысл происшедшего тогда и для его слушателей, нашедших спасение от антихриста в бегстве в горы.

Но материалы ЦГВИА не дают нам ни малейшего основания предполагать, что 26-летний оренбургский казак действительно играл ведущую роль в этих событиях; несколько реальных деталей, сохранившихся в «Повести», позволяют думать, что протест этот был коллективным делом всех его участников, причем слово более старших традиционно имело больший вес.

* * *

«Повесть» следующим образом рисует «познание истины» братьями Трегубовыми — их переход на позиции старообрядческих эсхатологических теорий об отпадении послениконовской России в царство сил зла. Во время дежурства в станичном

правлении Владимир Трегубов заметил на столе принесенную кем-то старообрядческую азбуку и из возникшего разговора впервые услышал от других казаков о существовании какой-то «старой» веры и заинтересовался ею. Для удовлетворения своего любопытства он (вместе с братьями) смог воспользоваться двумя вполне традиционными источниками: рассказами соседей-старообрядцев и чтением их книг.

Сквозь диктуемые законами жанра торжественные обороты неторопливого рассказа о чуде божественного просветления души избранников провидения легко просматривается любопытная жизненная ситуация, известная нам по многочисленнейшим судебно-следственным делам о распространении раскола на востоке страны. Этот рассказ отражает вполне реальный факт весьма активного народного интереса к мировоззренческим проблемам, к самым глубинам идеологии. И хотя форма этого интереса традиционная — догматическая, при оценке ее определяющим является то обстоятельство, что эта догматическая система противостоит официальной, казенной — как в религиозном, так и в политическом плане. Поэтому не случайной оговоркой, а вполне закономерным является то, что «Повесть дивная» при всей своей подчеркнуто-житийной окраске, подытоживая этот период духовного развития своих героев, выводит нас на главный политический нерв этого развития: тезис «государь-антихрист».

Еще в начале пути познания новой истины братьями Трегубовыми их отец, обеспокоенный начавшимся отходом сыновей от официальной веры, привел им важнейший аргумент в защиту этой веры: то, что ее исповедывает «сам царь». Поэтому и дальнейшее прозрение братьев относительно антихристовой сущности неистинной казенной веры неизбежно должно было сопровождаться таким же выводом относительно поддерживавшей эту веру царской власти. «Повесть дивная» и в последующем изложении неоднократно будет возвращаться к обоснованию этого опаснейшего тезиса.

На праздник Введения (21 ноября) 1852 г. Владимир подрядился привезти товары неких купцов в соседний город на ярмарку. Вместе с купцами он остановился в этом городе в старообрядческом доме, у друзей его нанимателей. Старообрядцы сначала опасались Владимира как человека, находящегося на царской военной службе, но казак смог убедить их в искренности своих поисков истины. Там Владимир присутствовал при чтении какого-то «божественного писания с толкованием». Чтение сопровождалось комментариями хозяина дома, сводившимися к тому, что в мире, бесспорно, воцарился антихрист и церковь является его слугой, но полностью порвать с этим миром все же трудно, поэтому допустимо принимать от

государственной церкви таинства крещения и венчания, в прочем не сообщаться с нею. Подобную линию поведения он посоветовал и Владимиру.

Перед нами опять-таки очень реалистическая картина: по документам и старообрядческим сочинениям нам известны более умеренные направления уральского раскола, как правило связанные с торгово-промышленной верхушкой и на практике допускавшие принятие некоторых таинств от господствующей церкви. Им противостояли гораздо более радикальные направления, отражавшие антифеодальные настроения народных масс, в первую очередь, крестьян, мастеровых, беглых.

Весьма характерно, что и герои «Повести дивной» остались недовольными советами умеренных старообрядцев, их непоследовательностью и стали искать других учителей. Выйти из них помогла случайная встреча Максима Трегубова с каким-то начитанным сельским старообрядцем, который, в свою очередь, направил Трегубовых к другому, также деревенскому жителю. Согласно «Повести» именно беседа Владимира Трегубова с этим довольно-таки законспирированным расколоучителем наиболее радикального направления окончательно разрешила сомнения усть-уйских казаков.

Главным авторитетом в подтверждение своих крайних взглядов на современную ему Россию этот расколоучитель выставил известное эсхатологическое сочинение, служившее идеологическим знаменем антифеодального протеста еще в годы Тарского бунта 1722 г.,— Книгу Кирилла Иерусалимского. Рассказ о том, как он познакомил Владимира с этой драгоценностью, живо напомнит каждому участнику археографических экспедиций подобные же моменты, когда владельцы древних книг решаются, наконец, показать их гостю:

«Человек он, абие шед во внутреннюю клеть, и взем книгу Кирила Иерусалимскаго, и тако веде раба божия (Владимира.— *Н. П.*) в малую храмину, сущую на дворе его, и вдаст ему книгу ту, глаголя сице: „Прийми, друже, книжицу сию, и разгнув ю, чти прилежно, и от нея увеси, что подобает сотворить“».

Конкретные указания Кирилла Иерусалимского о том, что надлежит делать в условиях российской беззаконной действительности середины XIX в. сводились, по мнению хозяина книги, к альтернативе: либо открыто восстать против власти антихриста и принять от него мучение, либо бежать из-под его власти, укрываясь в тайных убежищах «в горах и вертепах». В подтверждение этой мысли расколоучитель сослался также на другую, очень характерную для крестьянской письменности книгу — сочинения Ефрема Сирина.

Эти страницы «Повести дивной» заставляют современного исследователя задуматься. Можно ли уточнить, представителей

каких именно старообрядческих согласий встретили Трегубовы? К сожалению, источник не ставил своей целью удовлетворение этого нашего любопытства. Его автор владел окончательной истиной, истиной в последней инстанции — божественным откровением и его не интересовала ни современная классификация старообрядческих идеологических систем, ни их синодальное обозначение, ни даже обычные в крестьянской среде названия старообрядческих толков.

Принятие от никонианской церкви таинств крещения и, особенно, брака, о чем говорил Владимиру Трегубову его первый собеседник, на практике встречалось в урало-сибирском расколе довольно часто в самых разных его течениях, хотя вероучительные системы старообрядчества осуждали такую практику. Она давно бытовала и среди беспоповского поморского согласия, и среди беглопоповцев-софонтиевцев, распространенных на Урале. Среди противников таких уступок равным образом можно назвать и авторитетных поморян, и крестьянских руководителей софонтиевщины (см. с. 15). Но чаще всего рассказанная Владимиру со ссылкой на книги Кирилла Иерусалимского и Ефрема Сирина теория о двух путях спасения от антихриста развивалась в то время самым радикальным толком старообрядчества — согласием бегунов-странников.

Почти в те же годы, когда в затерявшемся в Алтайских горах скиту со слов Владимира Трегубова записывается история его жизни и мучения, в Иркутске пишет свои исследования о бегунах известный историк-демократ Афанасий Прокофьевич Щапов, высланный в Сибирь за публичное сочувствие восставшим против сил антихриста крестьянам села Бездна. Щаповские характеристики эсхатологического учения бегунов очень близки к рассказу «Повести дивной». Да и последующие страницы «Повести» не раз продемонстрируют ее особые симпатии к загадочной крестьянской организации бегунов. Основанная еще в конце XVIII в. беглым солдатом Евфимием, она провозгласила побег от антихристовых властей главным догматическим принципом и смогла создать обширную литературу, бичующую эти власти, организовать разветвленную сеть тайных убежищ на тысячеверстных дорогах крестьянского побега — из районов крепостного права на восток, на юг.

Одной из этих дорог придется позднее пройти и Владимиру. Но это будет позднее. А пока он сообщает своему собеседнику, рассказавшему о двух путях избавления от власти антихриста, что он избирает не путь бегства, а путь открытого обличения — т. е. мученичества. И поразительно, до чего же точно в этой вроде бы чисто богословской беседе о спасении души прозвучала основная политическая формула этого обличения. Ее произнес Владимир, познакомившись с писаниями Кирилла Иеруса-

лимского, Ефрема Сирина и тут же сделав оттуда все необходимые выписки. Он прямо спросил своего учителя, не вдаваясь ни в какие другие детали проблемы:

«Токмо сие ми рцы, аще аз сию храбрость восприму и государя Антихристом назову, то не погрешу ли пред богом, понеже аз вменях его аки бога, и почитах, и велию честь ему воздавах, а ныне же тако его буду обличати, то не буду ли осужден в день Страшного суда божия?

Человек же той отвещав рече ему: Ей, воистинну не погрешишь».

Подобно другим образцам старообрядческой литературы, начиная с великого ее истока — «Жития протопопа Аввакума Петрова», в «Повести дивной» соседствуют и перемешиваются события самого возвышенного плана — поиски высшей истины, мучительные проблемы совести, прозрения, чудеса, и бытовые житейские сцены, детали сельского быта. Так, вслед за приведенным выше разговором следует рассказ о том, как братьям Трегубовым удалось удачно обмануть своего отца: поскольку отец не одобрял их поисков веры, свою поездку к старообрядцам Владимир совершил под видом рыбной ловли. На обратном пути его поджидал брат Петр, принесший ему «купленную рыбу и омерзшыя рыболовныя вещи». Отец остался очень доволен заботливостью сыновей, а автор «Повести дивной» успех этого обмана счел делом провидения.

* * *

Вернувшись домой, Владимир рассказал братьям об обретенной истине, о двух путях спасения в антихристовом мире — и начались долгие обсуждения новой информации. В них принимал участие и сосед Трегубовых Алексей (Яковлев), который еще раньше братьев и независимо от них стал активно интересоваться старообрядчеством.

Вспоминая спустя много лет на Алтае эти дни, Владимир Трегубов не скрывает, что его мысль о предпочтительности открытого обличения антихриста не сразу возобладала; обсуждался и путь бегства в «пустынь», где можно было бы в крайнем случае по примеру старообрядцев прошлого запоститься насмерть.

И тут пришло новое решение, не очень-то хорошо аргументированное в «Повести дивной»: прежде чем «начать делати» (действовать), посетить киевские святыни. Не для принятия решения или укрепления в нем — этот естественный для жития аргумент в «Повести» забыт, не говорится даже о «святом князе Владимире», крестителе Руси, соименном главному герою «Повести».

Позднее окажется, что это путешествие позволит орен-

бургским казакам увидеть издали государя и получить новые, решающие доказательства его антихристовой сущности. Таким образом, в общей сюжетной линии «Повести» об обретении оренбургскими казаками истины посещение Киева займет свое место. Но аргументация о причинах принятия такого решения остается слабой.

В рассказе Владимира наряду с житийными моментами, с уверенностью в собственном богоизбранстве немало и бесхитростного простодушия. И постепенно из дальнейшего торжественного рассказа проступает иной, вполне определенный смысл принятого решения. Во-первых, оказалось, что богомольцев ожидала вскоре регулярная военная служба в казачьем войске и они знали об этом. В самом конце рассказа о путешествии, повествуя о благополучном возвращении домой, Владимир проговаривается, что дома их и не ждали уже, ибо знали об их решении уйти от службы «за границу в Турецкую землю» (скорее всего, к казакам-некрасовцам, потомкам старообрядцев, ушедших в 1711 г. с Игнатом Некрасовым за рубеж, от власти царя-антихриста). Киев мыслился оренбургским казакам лишь первым этапом пути, но там они узнали, что за рубеж их не пропустят как «безвидных сущих», т. е. не имеющих соответствующего вида, документа. Странно, но Владимир даже не вспоминает в этой связи о близкой Крымской войне.

Даже с официальным разрешением на путешествие для богомолья в Киев дело обстояло очень непросто. В станичном правлении атаман отказался дать соответствующую хартию ввиду их скорой службы и явно опасаясь побега (позднее оказалось, что о разных планах побега казаки откровенно говорили со своей многочисленной родней).

Характерно, что подробнейший, изобилующий деталями рассказ Владимира и в нарочито агиографической, тенденциозно житийной редакции «Повести дивной», говорящей, в первую очередь, о крестном пути праведника, показывает нам тесное переплетение двух планов народного сознания — вполне житейских забот об организации обычного побега от службы и обретение высшей божественной истины о необходимости и путях борьбы с антихристом. В этом переплетении — определяющая сторона народной идеологии.

Необходимую для подготовки паломничества-побега хартию казаки все же получили, хоть и не без обмана. Ее дал им окружной генерал в Троицке. Правда, ввиду близкой службы он также запретил им идти к киевским святыням, но посоветовал заменить их гораздо более близкими — верхотурскими. Казаки рассудили, что такой документ все же лучше, чем никакой, и взяли хартию сроком на два месяца для путешествия на Верхотурье, вместе с подаренными генералом двумя серебряны-

ми рублями — один на свечу Симеону Верхотурскому и второй — на дорогу.

По этой верхотурской грамоте в Киев решили идти два брата Трегубовых, Петр и Владимир (Максим должен был остаться с семьей). К ним присоединились двое соседей — Алексей Яковлев и Роман Горячев (Киселев). Этот последний вскоре решил поворотить вспять—«мыслиши бо о жене и о чадех», угадали другие причину его возвращения.

Тому, как мужественно поборол в себе подобное искушение Владимир, «Повесть» уделила значительное внимание. Его жена, которая была «млада и зело прекрасна, такоже и благоразумна, благородных родителей дщи», держа на руках полуторагодовалого сына, в трогательной речи призывала мужа не оставлять ее:

«Почто нас с сыном оставляеши сирых, супруже мой любезнейший? Ни ли аз вдовствовати имам в юности моей? На кого прочее аз возрю вместо тебе, прекраснейший супруже мой, и кто призрит чадо мое, в юности сущее, и кто печется нами смиренными?»

Владимир посоветовал ей надеяться на бога и отправился в путь.

11 августа 1852 г. Алексей, Петр и Владимир достигли Киева и остановились в гостинице Киево-Печерской лавры. Восемь недель их пребывания в Киеве и в лавре описаны очень тщательно, с массой бытовых подробностей, всевозможных деталей. Здесь и все правила организации монахами экскурсий в пещеры, и рассказ о ссорах в гостинице лавры между женами странников-богомольцев, об их остром языке (при этом замечается вскользь, что если Петра эти вольные разговоры приводили в отчаяние, то Алексей сам с удовольствием принимал в них участие: читателя готовят к мысли о закономерности будущего «грехопадения» «блаженного» Алексея). Лавра использовала богомольцев для монастырских работ, и «Повесть дивная» подробно описывает их. Любопытнейшая деталь: Владимир, в частности, был занят на тяжелом труде в пекарне — по изготовлению просфор для церковной литургии. «Повесть» в мельчайших деталях описывает всю технологию, включая накладывание на просфору особой печати; восхваляя добросовестность и трудолюбие Владимира, бесхитростный автор «Повести» не замечает того, что должно быть ясно любому образованному старообрядческому начетчику: что уже «познавший истину» Владимир добровольно помогает здесь антихристову деянию: как раз вокруг «никонианских» просфор и печати на них разгорались жаркие споры старообрядцев с официальной церковью, такая просфора считалась у старообрядцев лучшим орудием погубления души.

Подобным образом «Повесть» не смущается и тем, что казаки, уже понявшие на родине, что новая открывшаяся им истина категорически требует избегать любого участия в богослужении казенной антихристовой церкви, не посещать ее, в Киеве особенно усердно ходят на все церковные службы в лавре. Их благочестие замечено игуменом и «Повесть» гордится этим, хотя и игумен и служба — никонианские. Противоречие это не снимается замечанием «Повести» о том, что казакам хотелось узнать, как именно идет здесь служба.

Для исследователя эта необычность «Повести дивной» в общем круге старообрядческой книжности очень показательна: народная литература этого рода, резко враждебная официальной церковной идеологии, далеко не всегда последовательно придерживается всех канонов новых догматических систем. Каноны принимаются избирательно и избирательность эта разная в разных случаях. Например, основатели Выговской литературной школы, идеологические столпы поморщины братья Денисовы немало восприняли от киевских литературных традиций и вкусов, обучались у своих врагов-никониан, но невозможно предположить, чтобы из-под их пера мог выйти рассказ о благочестивом изготовителе просфор для нужд Киево-Печерской лавры.

Главным событием киевского путешествия казаков «Повесть» называет посещение в это время лавры государем Николаем Павловичем. «Повесть» вкладывает в уста казаков особую благодарственную молитву за то, что провидению было угодно показать им воочию того, с кем они «хощут сразитися». И действительно, кажется, что жизнь невольно раскладывает события по драматургическим канонам.

Впрочем, сам этот дар провидения описан приземленно и реалистически: суматоха, поднявшаяся в монастыре при известии об августейшем визите, генеральное «чищение» монастыря по этому поводу и «многообразное украшение», «великий шум и звук», теснота и отчаянная давка. Провидение, сведя в одном монастыре царя и казаков, не побеспокоилось, однако, о месте для последних в монастырской церкви, где были главные торжества. Владимир, «вотрошася во иноков» монастыря во время встречи царя у монастырских ворот, видел эту встречу. Правда, церемонию несколько нарушила некая женщина, подавшая прошение царю.

«Царь же идяше по пути и на обе страны преклоняя главу, а народ же и вси мниси канцерт царю пояху, глаголюще: Боже, царя храни и прочия стихи».

На этом лицезрение Владимиром царя закончилось, ибо «у дверей церковных стояху воини вооруженнии, глаголемии жандары, и бичем отгоняюще весь народ».

Вспоминая в Сибири зрелище в подробностях, Владимир не забывает и главный идеологический вывод из всего виденного, делающий киевское путешествие казаков закономерным этапом их движения по избранному пути: наблюдая вблизи все униженное подобострастие церковных иерархов перед земным владыкою, казаки убедились в справедливости слов Кирилла Иерусалимского о том, что антихрист восхитит себе две власти — не только царскую, но и святительскую. Вполне ясное и очень правильное наблюдение лежало в основе этого эсхатологического тезиса: подглядев обычный, трафаретный эпизод из царского быта, оренбургские казаки точно определили, кто реально управляет синодальной церковью.

«Обаче и сего довольно есть к познанию истины, и от сего совершенно позна блаженный (Владимир.— *Н. П.*), яко той есть воистину сосуд треклятого Сатаны, и яко вправду попра духовную власть под нозе свои и весь мир в свою погибельную сеть улови».

На обратном пути из Киева Александр и Владимир неожиданно заехали в давно связанный с Уральским казачьим войском известный старообрядческий центр — Стародубье, хотя им было туда совсем не по пути. «Повесть» никак не объясняет причину этого визита и мы можем лишь догадываться о ней: возможно, он имеет прямое отношение к планам побега оренбургских казаков. Стародубье было связано со многими старообрядческими центрами в России и за ее пределами. «Повесть» же обмолвилась ранее, что казаки собирались искать подходящее место для поселения. В Стародубье они остановились в поморском монастыре, «мниси же тии начаша приглашати их на жительство в монастырь свой». Но казаки решили возвращаться домой. Быть может, именно здесь они получили информацию о том, что к зарубежным старообрядцам не пробраться — а само Стародубье было, несомненно, в пределах досягаемости слуг царя-антихриста.

С рекомендательным письмом из Стародубья братья заехали по дороге к некоему купцу в Калугу, и здесь состоялось их знакомство еще с одним классическим произведением старообрядческого эсхатологического протеста — Соловецкой челобитной: купец «принес книгу Челобитну Соловецкия киновии, и начаше чести и разсуждати о пременении закона и всех вещей» в последние антихристовые времена. Это очень показательно: и в середине XIX в. успешно выполнял свою пропагандистскую роль, поднимая на борьбу с антихристом все новые поколения, яркий документ, созданный в 1667 г. участниками соловецкого восстания, осмелившимися отменить молитву за царя и благословить вооруженное ему сопротивление.

«Повесть дивная», несомненно, следует в своем подробном

рассказе реальным событиям, кое-что подчас выпячивая, кое о чем умалчивая, но при этом истолковывая по-своему действительно бывшие происшествия. Вслед за рассказом о знакомстве Трегубовых с Соловецкой челобитной «Повесть» сообщает, что братья окончательно решили идти не по пути бегства, а по пути открытого вызова царю-антихристу.

* * *

Но в действительной жизни все было сложнее. Житие отображает эту жизнь по своим законам. К счастью для историка «Повесть дивная» не вполне житие, точнее — не очень-то умело сделанное житие и информативность его выше обычной: реальные, очень подробные воспоминания Владимира о своей пестрой биографии не подчинены до конца стандартным, этикетным правилам и оценкам агиографического жанра. Усредняющая сила этих правил такова, что зачастую, как это отчетливо показал еще В. О. Ключевский, одними и теми же формулами, в одной и той же последовательности описываются биографии самых разных людей, отделенных друг от друга веками и тысячеверстными расстояниями; в исторической литературе даже шли жаркие споры о том, допустимо ли вообще искать за этими формулами реальные обстоятельства жизни реального человека.

В «Повести» же идеологическая обработка исторического факта не очень-то заслоняет от историка этот факт, о многом исследователь может легко догадаться.

Так, оказалось, что на самом деле путь оренбургских казаков от обычной жизни к мученичеству был не столь уж прямолинейным, как это следует по простой схеме «Повести» (познание истины — мученичество). После киевского путешествия наступает вторая отсрочка действия, никак не подготовленная и не объясненная идеологическим строем «Повести», только что провозгласившей, что после этого путешествия для Трегубовых все уже было очевидно и решено.

Мимоходом, одной строкой, но «Повесть» все-таки сообщает, что отсрочка эта была куда длительнее первой. Можно высчитать, что она продолжалась от рождества (25 декабря) 1852 г. почти до самой пасхи (11 апреля) 1854 г. За это время Владимир успел полгода провести на военной службе — в составе казачьего отряда в 200 человек, отправленного на Каспий:

«Бе же от начальства послан бысть некий щегирь, на неудобныя степи к Каспийскому морю для розыскания всяких пород, назначен был отряд двесте казаков, и пошли с весны, и ходили до осени, потом вспять возвратишася».

И подобно тому, как в Киеве Владимир счел возможным

участвовать в церковной службе антихристу, в родной Усть-Уйской станице он все еще не отказывается от военной службы ему.

Нет, Трегубовы в конце концов добровольно выберут именно тот мученический путь, о котором пишет «Повесть», просто в жизни этот выбор будет куда более мучительным и нелегким делом, чем это пытается представить «Повесть», явно считающая подобные колебания недостойными «жития святого»[1].

Не акцентируя непоследовательность поведения Владимира в это время, «Повесть дивная» упоминает все же о сомнениях, обуревавших его. В результате в этом интересном повествовании как бы параллельно идут два плана и рядом с обязательными, по мнению автора «Повести», формулами о стойкой верности избранников провидения нововоспринятой идее, их страстному желанию пострадать во имя ее мы читаем следующие строки, восходящие к откровенному рассказу самого Владимира:

«Смотряше бо блаженный на дом и имение, и соглядаше вся утвари и скоты, такоже о жене и о чадех помышляше.., и абие малодушествовав начат глаголати братием своим сице: Что ради, братие, мы тако скоро спешим на дело сие, не добре извыкше божественная писания, ниже уразумехом премудростнаго его толкования, и несть мы довольни еще в разуме, еже изыти на единоборство противу лютаго зверя. Подобает бо еще мало пожити нам и известнее испытати божественная писания и совершенно уверитися — и тогда начати дело сие. Аще ли же мало изучившеся начнем, егда како устрашимся и отпадем».

Талантливый писатель использовал бы этот эпизод для того, чтобы сделать более жизненным высокий облик своего героя. Автор «Повести» явно не ставит перед собою подобных литературных задач, он инстинктивно следует здесь жизненной правде, сохраненной в устном рассказе Владимира. Но результат тот же самый.

В наш прагматический век удивление читателя вызовут не эти понятные колебания, а сам выбор пути. Вроде бы нет непосредственных причин для столь самопожертвенного протеста. А очень хочется разглядеть их за эсхатологическими

[1] Это последнее слово, правда, не употребляется автором «Повести» применительно к Владимиру и его друзьям — ведь они не были канонизированы: ни одна церковная организация не причислила их к лику святых. К тому же «Повесть дивная» писалась при жизни Владимира, а прижизненная канонизация для традиционного сознания — вещь невозможная. Поэтому «Повесть» последовательно заменяет слово «святой» на слово «благочестивый», перенося на второй термин все значение первого. Старообрядческая литературная традиция выработала немало разных приемов для выхода из подобного затруднения, но «Повесть» не обнаруживает близкого знакомства с ними.

аргументами «Повести» о невозможности иного пути для спасения души в российском царстве антихриста. Хозяйство большой семьи Трегубовых не из бедных, и пригнувший русскую деревню чугунный пресс крепостного права здесь не так уж чувствуется — казачье сословие, хотя и очень близко к крестьянам, имеет свои права, и немалые. Военная служба, от которой пытались было убежать Петр и Владимир, куда легче рекрутчины.

Вопрос этот имеет более общий характер. Конечно, мученический протест Трегубовых — не общее правило поведения. Но и не столь уж уникальное, единичное явление в русской истории. Острая коллизия перехода от древней к новой России, обусловленного к тому же резким усилением крепостнических тенденций, сопровождалась во второй половине XVII — начале XVIII в. целой волной самоуничтожений, колоссальных гарей, в каждой из которых гибли тысячи человек. Зачастую это были акты отчаяния людей, буквально загнанных в угол жизнью, сорванных с родных мест наступлением крепостного права, новых никоновских и петровских порядков; многим из них грозила мучительная казнь и бросались они в огонь на виду военных команд, пытавшихся изловить их. В XVIII в. гари постепенно становятся менее масштабными и, как правило, являются непосредственным ответом на грубое насилие в сфере религиозной совести, творимые казенной церковью и полицейским государством. В первой половине XIX в. добровольных самоуничтожений протеста еще меньше и далеко не всегда они являются прямым ответом на конкретный акт насилия, направленный против протестующего. Все больше и больше такие акты, как и добровольное мученичество Трегубовых, являются более обобщенным протестом против социальной несправедливости, против того самого лицемерного общественного строя николаевской России, всю душепагубность и неестественность которого так остро ощущал Толстой. Трегубовы то же ощущение выражали в византийских формулах эсхатологического учения о «последних временах» воцарившегося антихриста, в народных представлениях о «неистинности» государя. То же старообрядческое учение и те же легенды помогли в свое время и Пугачеву, перешедшему к открытой вооруженной борьбе с силами социального зла. А позднее предводитель смелого антикрепостнического бунта в с. Бездне в 1861 г. крестьянин Антон Петров выработал свою религиозно-этическую систему, оправдывавшую это выступление.

Протест Трегубовых был, конечно, совсем иного плана, чем гари XVII и XVIII вв. или Бездинское восстание. Но в причинах и в идеологии этих актов протеста есть существенные общие черты.

Христианская этика категорически запрещает самоубий-

ство — оно рассматривается как тягчайший грех против самого святого духа и душе самоубийцы нет спасения, нет прощения. Старообрядцы, оправдывавшие самоуничтожение, основывались на том, что подчас это единственный возможный ответ насильникам, которые иначе подчинят тебя своей душепагубной воле. Но догматическая допустимость самоуничтожения, не обусловленного непосредственным насилием со стороны слуг антихриста, вызывала в старообрядческой среде постоянные споры, хотя было немало сторонников теории, согласно которой сама победа в мире сил зла, общее победоносное торжество антихриста вполне оправдывают протест в форме самоуничтожения, бросающего вызов антихристу.

Этот эсхатологический тезис можно выразить и на другом языке. Феодальные производственные отношения в их тягчайшей крепостнической форме были губительным анахронизмом для русской деревни и в XVII в., когда эта форма окончательно отлилась в юридические нормы Соборного Уложения 1649 г. Через два века, бывших временем дальнейшего расширения и ужесточения крепостничества, гнет этих безнадежно устаревших отношений стал совершенно нетерпимым, разрушительным и для экономики и для человеческого сознания крестьянина. Между тем заметно укрепившаяся военно-государственная машина царизма, победоносная во внешних войнах и в подавлении внутренних бунтов, защищала эти отношения и делала крайне сомнительной саму возможность успешной борьбы с ними. (Напомним, что для слома этих отношений одних крестьянских бунтов оказалось недостаточно, нужен был и внешний толчок Крымской войны.) Противоречие искусственно загонялось царизмом вглубь и отравляло всю общественную атмосферу, особенно в деревне. Торжество несправедливости, антихриста было очевидно, надежды на победу над ним в открытом бою были шатки, терпеть не было сил и не позволяла совесть.

Оставались те пути, о которых Владимир Трегубов прочитал в книге Кирилла Иерусалимского. Характерно, что и братья Трегубовы, и их единомышленники колебались в выборе именно этих путей и их вариантов. Вскоре после киевской неудачной разведки возможностей побега к Трегубовым присоединился их сосед Иван Крылов, которого, как оказалось, давно уже мучили те же мысли. Его друг сумел совершить успешный уход из царства антихриста в некую неизвестную «пустынь» «и бысть без вести даже и до днесь»,— идеальная линия поведения бегунов-странников. Иван же «убояся не поиде с ним», но избрал было не менее традиционную смерть от голода — «восхоте паче не прияти пищи, и аки воск гладом и жаждею истаяти». 12 дней он провел без еды и воды, в «яме подовинной», но был случайно обнаружен там и возвращен

домой. Затем он присоединился к Трегубовым. Последние еще раньше считали для себя возможным и подобный смертельный пост — «да бежим в пустыню и аки воск гладом и жаждею истаем» (последняя формула была распространена в самоуничтожениях XVIII в., в том числе зауральских).

Однако в конце концов усть-уйские казаки пришли к выводу, что предпочтительнее всего открытый вызов царю-антихристу, означающий мученическую смерть, но не от собственных рук. В условиях глубочайшего и, казалось, безысходного кризиса огромной военно-крепостнической системы многие села и волости бунтовали, крестьяне толпами бежали из окраины в поисках вольных земель, надеялись на милости очередного царевича-избавителя, ждали «золотой грамоты» о воле, пытались использовать традиционные механизмы общины для защиты от крепостников. Некоторые выбирали самоубийство или, подобно Трегубовым, близкое к нему открытое обличение царя-антихриста.

Очень часто историк не может доподлинно определить, какими именно жизненными обстоятельствами и чертами характера диктовался в каждом случае этот выбор.

Легко с высоты научных теорий нашего века осуждать решение Трегубовых как ошибочное. Не будем делать этого, лучше отдадим дань уважения величию души людей, далеко не самых несчастных в николаевской России, но так остро ощутивших несправедливость ее порядков и имевших мужество пойти на добровольную мученическую смерть за свои убеждения, за свой внутренний мир. Именно в казачьей среде, близкой к крестьянской, но все же несколько привилегированной, имелся минимум свободы, необходимой для протеста. И не такой уж это пустяк в военно-отеческом царстве Николая I — отстаивание самодовлеющей ценности своих взглядов, объявляющих господствующую царскую власть антихристовой. Военный суд знал, что делал, вынося свой приговор.

* * *

Но пока еще до военного суда было далеко. Первые шаги протеста Трегубовых, сначала довольно робкие, вызвали одно желание у низшей администрации — как-то замять дело, неприятное и хлопотное. Тем более, что пока были видны лишь религиозные его аспекты: в великий пост 1854 г. братья Трегубовы, Иван Крылов и Алексей Яковлев перестали ходить в никонианскую церковь своей станицы и не пошли к исповеди и причастию. «Повесть дивная» сообщает, что это сразу же было замечено в станице, которая с тех пор напряженно наблюдала за происходящим. (Позднее Перовский напишет в столицу о том же.)

Друзья и родственники отговаривали упрямцев. Отец братьев Трегубовых первым сообщил об их поведении станичному атаману и просил его принять меры, не без основания опасаясь, что дальше хуже будет. Но атаман высмеял старика и посоветовал ему оставить детей в покое:

«Послушай, друже, аще бы ты рекл ми еси, яко чада твоя разбой творят или ино некое злое дело содевают, то аз имел бы право предати их суду. Аще ли же богу молятся, сие есть доброе дело».

Такова первая, вполне благоприятная для братьев Трегубовых реакция властей. На протяжении последующих почти ста листов «Повесть дивная» будет детально рассказывать обо всех этапах ужесточения этой реакции. Впрочем, сама «Повесть» будет давать от имени будущих мучеников прямо противоположные оценки позиции властей: сначала они будут сетовать, что никак не могут достаточно раздразнить антихриста, а затем радоваться, что удается их замысел поучительной публичной демонстрации стойкого сопротивления злу, готовности принять любые страдания, но не поступиться убеждениями. «Повесть» излагает все это в пространнейших благочестивых рассуждениях и молитвах, которые, по мнению автора, приличествуют житийному жанру. Историк вынужден довольствоваться этим пышным занавесом, за которым с трудом проглядываются реальные сцены внутренней подготовки казаков к подвигу.

К концу великого поста волна слухов, распространившаяся по станице о поведении Трегубовых, Яковлева и Крылова, заставила-таки станичного атамана вызвать их в правление для беседы и увещевания. Вместе с атаманом был и какой-то судья. «Повесть» считает, что состоявшийся в станичном правлении религиозный диспут на предмет выявления подлинного характера официальной церкви был выигран казаками, внятно растолковавшими своим оппонентам, почему эта церковь является душепагубной. Атаман в конце концов просил лишь не поднимать шума, а от посещения церкви просто откупиться минимальной взяткой:

«Велика ли это важность дать священнику по десяти копеек, и он вас не в чем притеснять не будет, и вы тогда живите бес печали, как знаите, так и делайте, поститесь и молитесь по своему обычаю».

Традиционная тактика старообрядцев, рекомендованная еще Аввакумом и, как видим, хорошо знакомая местным властям. Но наших героев не устраивает то, что обычно устраивало старообрядцев (линия бегунской радикализации старообрядческой идеологии будет далее звучать в «Повести дивной» все явственнее). Им нужен был не компромисс, а вызов. Нужно было, чтобы их услышал антихрист.

«Тогда блаженнии в дом идуще, печалующеся и глаголюще к себе сице: Ни, братие, недобре мы стрелихом, не дойде бо стрела сердца их, они бо шум летения стрелы токмо слышаша, язвы же не прияша. И что прочее сотворим, братие, како раздражим лютость его?».

Безошибочный ответ был найден тотчас:

«И реша паки: Сице да сотворим — егда кого от нас потребуют на кую любо службу, то мы нейдем, еда како сею вещию возможем раздражити его».

Это средство в конце концов оказалось верным. Царь услышал-таки о протесте усть-уйских казаков — демонстративный отказ от военной службы был делом серьезным.

Первой очередь дошла до Алексея Яковлева. 13 апреля к нему пришел из станичного правления ефрейтор с приказом: «Впрязи коня и вези начальника во он град» (начальник и город в «Повести» не названы). Алексей, малодушно забыв об уговоре, «не могий дерзостне отвещати» и отговорился болезнью. Тогда на ту же службу был вызван Максим Трегубов; он отвечал ефрейтору, что не может исполнять службу, так как находится под судом станичного атамана. Хотя в рапорте Перовского о деле также сообщается о том, что Максим находился в это время под судом за принадлежность к старообрядчеству, в «Повести» этот эпизод никак не разъясняется, он не ложится в ее схему. Под арестом Максим тогда не был, вызванный к станичному атаману, он сначала повторил ему свой аргумент, но в ответ на прямой вопрос атамана: «Разве ты государю служить не хощеши?», прямо заявил, что слугой царю он не будет, «понеже он еретик есть». (Перовский сообщил об этом отказе в более смягченной формулировке: «служить намерен одному только царю Небесному, а Земному не будет и знать его не хочет». Однако из сопоставления дальнейшего изложения рапорта Перовского с «Повестью дивной» можно сделать вывод, что здесь повествовательный источник ближе к истине, чем документальный. Как увидим ниже, казаки употребляли обе формулировки.)

Атаман хотел было исчерпать эпизод окриком и отеческой зуботычиной, но присутствовавший при этом его коллега из другой станицы запугал его:

«Не добре ты, атаман, сия твориши, за таковое дерзновение не сяди и ты с ним во едино место».

Так старший брат Трегубов оказался в тюрьме. Так «Повесть дивная» вступает в новый этап, тюремно-экзекуционный. Отныне она будет рассказывать о самых различных местах заключения николаевской России, о судьях и экзекуторах, об этапах и каторге, о наказаниях и побегах. Кто только в русской литерату-

ре XIX в. не будет рассказывать об этом, чаще всего используя собственные впечатления! Декабристы, Герцен, Достоевский... «Повесть дивная» расскажет об этих важнейших приметах российской действительности по-своему — все в той же житийной форме, все с тем же эсхатологическим содержанием.

Вслед за Максимом Трегубовым настала очередь Ивана Крылова. В четверг светлой недели (15 апреля) 1854 г. его вызвали на службу, «а служба же бе ему назначена в поход в армию». Он отказался. В станичное правление он явился не в форме, а в затрапезной одежде, разъяснив атаману, что воинской одежды он носить больше не будет, так как хочет быть воином небесному царю. На вопрос атамана: «Поэтому ты, Крылов, государю императору служить на хощеши?», Иван ответил: «Воистинну тако есть, не хощу бо государю вашему служить... понеже тако разумею по божественному писанию, яко власть нынешняго времени несть от бога, но от лукаваго и таковой власти не подобает покарятися». Атаман среагировал вполне трафаретно: потребовал назвать зачинщика, подбившего его на столь «законопреступный» бунт. Иван с готовностью ответил на этот вопрос, сказав, что таковым является «бог всемогущий и всесильный и всея твари видимыя и невидимыя содетель». Деталь очень характерная: во всех антифеодальных выступлениях под религиозной оболочкой, начиная с раннего средневековья, бунтующие против несправедливости социальных и юридических законов твердо убеждены, что выступают во имя изначальной «божественной правды» и, следовательно, побуждаемые самим божеством.

«Повесть дивная», не входя в дальнейшие детали, сообщает, что в долгом споре Иван взял верх над атаманом и в итоге добился желанного атаманского приказа: „Ведите и сего тамо, идеже государственный преступник Максим седит“». Атаман решил также тотчас проверить всех семерых усть-уйских казаков, отказавшихся ходить в церковь, не отказываются ли они заодно и служить государю. Роман Киселев и Никифор Новгородов, примкнувшие было к Трегубовым в их антицерковном протесте и сначала собиравшиеся идти с ними дальше, испугались и заявили в станичном правлении, что они согласны служить царю — и их тотчас отпустили. «Повесть дивная» сообщает, что они заодно и «никонианскую» церковь признали, но по материалам ЦГВИА это не так — перед нами характерное для «Повести» преувеличение. Алексей Яковлев, поколебавшись, решил присоединиться к Максиму и Ивану; тенденциозность рассказа Владимира сказывается в том, что «Повесть» подробно пересказывает иронические высказывания атамана по поводу того, что Алексей не мог сразу определиться, снимает героику его поступка.

А вот подобному же решению Петра и Владимира Трегубовых, наоборот, уделяется много места и торжественной риторики.

И следует сказать, что самые высокие слова кажутся вполне уместными, стоит только вдуматься, *какое* решение принимают братья — на сей раз уже окончательно. Понятно, что «Повесть дивная» сопровождает здесь свой рассказ чудесами, молитвами, ссылками на священное писание. Но одновременно — и масса бытовых деталей, язык библейских книг перемешан с уральскими диалектизмами, языком обыденным, что подчас невольно и неожиданно для автора «Повести» снижает героику. Вот братья, в ожидании вызова к атаману, торжественно восклицают: «что сотворим, брате, камо пойдем и где сердце наше утешим?» Ответ неожиданно прозаический: «И абие реша к себе: Идем убо на карду (скотный двор вне усадьбы, на поле.— *Н. П.*) ко скоту нашему и тамо почием мало». Там их и застал спящими посланный из станичного правления «ефретер»; их переживания во время недолгого пути в правление, последнего на свободе, описаны на восьми страницах.

Атаман допрашивал сначала Петра, который отвечал ему «дерзновенно», затем Владимира, который вслед за Петром подтвердил: «Не хощу бо и аз государю императору слуга быти, понеже он еретик есть». Присутствовавший при этом «другий начальник, саном судия» пообещал Владимиру за такую дерзость расстрел в 24 часа, на что тот ответил многословной благодарностью за неожиданную отсрочку — он-де надеялся и на 12 часов жизни.

...До суда им предстоит прожить еще более полугода — трудные месяцы, и мужество им понадобится не на один порыв, а для каждого дня этих месяцев. У них хватит его...

В тот же светлый четверг 15 апреля 1854 г. Петр и Владимир воссоединятся в темнице со старшим братом и двумя другими «государственными преступниками».

Весь этот раздел «Повести» богат точными психологическими деталями. Например, на пути в станичное правление ефрейтор разрешил братьям зайти домой попрощаться с родными и надеть белые рубахи; однако случайно дома в это время никого не оказалось и «Повесть» сообщает в связи с этим о чувстве некоторого облегчения — не было тяжелой сцены прощания, которая могла бы поколебать дух перед решающим разговором с атаманом.

Подобным образом «Повесть» со слов Владимира сообщает удивительно верную подробность встречи пятерых узников в богатый событиями день 15 апреля: услышав, как «твердая стража», уходя, закрыла дверь, они ощутили освобождение от страха, не отпускавшего-таки их все эти дни, поняли, что

наконец-то они могут свободно говорить обо всем и принимать дальнейшие решения:

«Прежде бо под страхом бехом, и не смеяхом яве глаголати тайну сердца нашего, понеже страх объемляше нас отвсюду, бояхомся бо да некако в зазор некиим будет беседа наша; ныне же зрите, любимицы, каковую благодать улучихом, яко без страха и ясно можем о всем глаголати друг ко другу, како и что подобает сотворити нам».

На следующий день их допрашивал по одному оказавшийся в станице какой-то оренбургский адъютант (вероятно, Перовского). Разговор шел и о церковных догматах, и о царской службе. Адъютант пугал карами, но позиция казаков не изменилась: «Мы бо вспять никако же возвратимся и государю императору никогда же слуги будем, понеже он еретик есть». Адъютант приказал: «Всадите их в темницу и блюдите твердо». Арестованным забили ноги в 30-фунтовые колодки. В них они провели в станичном правлении три недели, выходя иногда в колодках на улицу, почти каждодневно встречаясь с родными, друзьями и выслушивая их уговоры не губить себя и семью. Беседы эти передаются в «Повести» подробно и красочно.

Между тем по донесению атамана и адъютанта о деле узнали в Оренбурге. Рассказ «Повести» о первой реакции Оренбурга на протест усть-уйских казаков (о чем Владимир мог узнать лишь понаслышке) абсолютно точен и достоверен; он полностью совпадает с авторитетным свидетельством самого Перовского в его первом донесении 24 июня в Петербург о происшествии. «Повесть» сообщает, что «генерал... начаша разсуждати со своими советники, каковым судом возмогут осудити их, не мняху бо, яко они от разума сия начинают, но лености ради токмо от службы отстраняются». И действительно, мы помним, что Перовский поставил перед Военным министерством вопрос, каким судом судить казаков, доказывая, что дело это не духовное, а дисциплинарно-политическое, и требуя в пример другим «скорого и строгого» военного суда. «Того ради и глаголюще сице: Подобает убо нам жестоким судом осудити их, да не научатся к тому и прочие сицевым образом начальство затруднять» — демонстрирует «Повесть» свою хорошую осведомленность в позиции высокого оренбургского начальства.

В соответствии с этим решением было приказано перевести арестованных для суда в Оренбург. Отправили под конвоем из 12 человек с ружьями и обнаженными шашками. Дело было на праздник Преполовения и начальство рассчитало так, чтобы увести их из станицы незаметно, во время торжественного парада и богослужения — «да не сотворится мятеж в народе». (Любопытно, что Владимир дает для алтайских скитских богомольцев специальное пояснение слова «парад»: «А название

парата вещь сицевая: временем бывает от начальства распоряжение, егда будет годовой праздник, тогда все воинство обряжаются во всю омуницыю, еже есть во весь воинский убор и берут ружья в руки и обнажены имуще шашки, и приходят к станице, и становятся во фрунт. Егда же начнут клепати к обедне, тогда приходит атаман и скамандует в поход, и тако пойдут вси в церковь по чину, два и два».)

Однако благоразумный замысел начальства не удался: вышла заминка из-за отсутствия в казачьей станице обязательной принадлежности помещичьей деревни — оков; пришлось долго приспосабливать конские путы — и в результате арестованных повели по станице как раз во время многолюдного крестного хода после обедни. В станице к тому же разнесся слух, что арестованных ведут прямо на расстрел. Характерно, что хотя никакого суда еще не было, слуху поверили, суд все равно ведь тайный, скрытый от всех, в том числе и обвиняемых.

Поднялся отчаянный шум, крик, в начавшемся замешательстве все оставили крестный ход и побежали к арестованным, которых вели соседней улицей. «И тогда сотворился великий мятежь и молва в народе и воздвижеся многий кличь и вопль и плачь неутишимый, и тако мнети в той час, яко и самой земли колебатися от великаго плача и хлибания и многих слез». Бунтовских намерений толпа не имела и власти в конце концов навели порядок, но тайная отправка арестованных не получилась. Конечно же, «Повесть» видит в этом «великое чюдо», непосредственное вмешательство божества: «Бог же... иже вся ведый и о всех промшляяй, не изволи всемирных светильников скрыти под спудом, но поставляет их на свещнице, да видими будут всеми».

В тех же торжественных выражениях, но очень искренне «Повесть дивная» рассказывает о скорби жен, детей и родителей осужденных (только у Трегубовых их было 17 человек).

Почти вся станица провожала арестованных до паромной переправы через реку Уй, жены шли за ними до Крутоярской крепости, мать сопровождала их до самого Троицка, где начальники отогнали ее от тюремных ворот. «Она же ... бысть аки мертва, и горько восплакавшися, и зельно рыдающи и тяжко воздыхающи, едва помалу возможе возвратитися вспять... И кто может изрещи или исповедати неизреченную ту скорбь и печаль умиленныя той старицы бывшую в то время, о сем бо несть никому же ведомо, како она отиде в дом свой».

На другой день в Троицке состоялось очередное увещевание, его вместе с окружным генералом проводил прибывший из Оренбурга губернский начальник генерал Подуров. Генералы стали расспрашивать казаков «о исповедании православныя веры и о церковных догматех», а заодно и о зачинщиках — «от

кого научишася и что ради не повинуются власти». Генералы держались снисходительно-милостиво, объяснили казакам, что все их умствования — от «малограмотности», а впрочем, признали даже, что нынешние законы «не очень правы» и «против прежних законов изменены», но это дело высшего начальства, за повиновение которому бог не должен взыскать. Генералы изволили даже пошутить, согласившись, что нынешняя жизнь далека от святости: «Сие бо тако есть, друзья, прежнии святии даже и хлеба не яли, а мы же ныне еще и пуньш пием, да спастися хощем».

Автор «Повести дивной» хорошо показывает все лицемерие этой барской снисходительности (по-своему он затрагивает все ту же толстовскую тему лицемерия барской культуры николаевского общества): не добившись от казаков отказа от протеста, «генерал Подуров повеле всадити их в темницу; сам же еха во град Оренбург управляти дело, каковым судом возможет осудити их и каковыя бы казни лютейшыя на нь, да како бы возмогл устрашити не токмо сих, но и прочих, дабы никто же отнюдь восхотел и впредь тако ниже помыслити».

Жизнь узников в Троицкой тюрьме продолжалась шесть недель, во время которых они впервые столкнулись с несколькими важными проблемами. Посадили их вместе с уголовниками, но удалось как-то наладить с ними отношения: «тии злодеи... смилишася сердцем и возлюбиша их зело и во всяком деле творяху им снизхождение и помощь». Но так будет далеко не во всех российских местах заключения, через которые Владимиру предстоит пройти.

Другой проблемой была пища. В родной станице питались передачами — едой, приготовленной дома. В Троицке впервые встал вопрос о казенной пище, оскверненной антихристом по старообрядческим представлениям, запрещающим смешение в еде и в посуде с иноверными. Правда, была, кажется, возможность получать пищу от троицких старообрядцев, но казаки отвергли ее, — и в этой связи в «Повести» звучит впервые острая критика старообрядчества: «Аще ли мы от старообрядцев восхощем токмо приимати пищу, то паки чим их святее и лучше сотворим сих, они бо токмо единою чашею от них разньствуют, а дела же и горше сих творят, внешнее бо точию сткляницы блюдо очищают, а внутрь же суть полни грабления и лукавства и всякой нечистоты».

Читая эти строки о затруднительной ситуации, в которой оказались казаки, историк сам оказывается в крайнем затруднении. Совсем недавно «Повесть» рассказывала, что само «прозрение» Трегубовых началось со старообрядческих книг и разговоров со старообрядцами, все предыдущие беседы и споры героев «Повести» были наполнены обычными старообрядчески-

ми аргументами против никониан — и вдруг такое острое осуждение старообрядчества. Между тем в донесении Перовского от 24 июня 1854 г. сообщается: арестованные в допросе в полковом правлении сказали, что «принадлежат к безпоповщинской секте, не признавая церковной иерархии, брака и прочих священных таинств». Впрочем, под это определение можно подвести как радикальную старообрядческую беспоповщину, так и бегунов-странников (кстати говоря, *всех* таинств не отрицали ни те, ни другие: они признавали крещение и покаяние, но для военного суда это мелочи, не учитываемые и соответствующими полицейскими инструкциями). К тому же, как мы видим, таинство брака Трегубовы и их друзья отнюдь на отрицали. А уже после экзекуции Владимир не раз будет обращаться к помощи старообрядцев, подчас и пищу их принимать.

Можно обозначить такой приблизительный выход из этого клубка противоречий. Мировоззрение Трегубовых и их друзей эволюционирует. Какие-то связи со старообрядцами существовали у них и до «прозрения» (Перовский сообщает, что почти вся их родня — старообрядческая). Главной для них в этом «прозрении» была уверенность в том, что их окружает царство социальной и моральной несправедливости, царство победившего антихриста, как они говорили,— и что нельзя этому царю-антихристу помогать, служить хоть в самой малости. Подобное учение было возможно и в рамках радикальной беспоповщины, и в рамках все более выделяющейся из нее самой радикальной организации — бегунов; догматические споры, отделявшие тех от других, Трегубовых не очень интересовали. В Троицке они осуждали то умеренное старообрядчество, которое, заботясь об отдельной от никониан посуде, внутренне не отмежевалось от «грабления и лукавства» мира антихриста. Правда, позднее Владимир непоследовательно будет еще принимать помощь от богатых купцов-старообрядцев, хотя постепенно круг его старообрядческих знакомств будет все более радикализоваться, а на Алтае он будет во главе бегунского скита. Возможно к тому же, что созданная в этом скиту «Повесть дивная» склонна окрашивать события 1854 г. настроениями алтайского периода.

Власти были напуганы возможной популярностью идей Трегубовых среди старообрядцев и прочих казаков Усть-Уйской станицы. Мы видели, что об этой опасности Перовский в июне предупреждал Петербург. К этому времени он, правда, успел принять некоторые меры. Пока арестованные находились в Троицке, в станицу был отправлен с устрашающей миссией генерал Подуров. «Егда же приеха в станишное правление, и абие повеле приготовити прутиев воз велик и связати их в пучки и вывести их на площеть». Эта наглядная демонстрация

возможности массовой порки была подготовкой к сплошному генеральскому допросу всей многочисленной родни арестованных, соседей — не поддерживает ли кто-либо их взглядов. Генералу удалось запугать всех, кроме жены Алексея Яковлева, на которую «страх великий» не подействовал. Жена Владимира отреклась вместе со всеми от взглядов мужа «страха ради и... студа ради многонароднаго». И тем не менее «Повесть дивная» пишет о ее поведении с гораздо большей симпатией, чем о «дерзости» жены Алексея! Было ли ей что-либо за эту дерзость — «Повесть» умалчивает.

Вскоре после этого арестованных переводят для суда и наказания из Троицка в Оренбург. Именно переводят — пешком, с поразительной неторопливостью, какой-то редкостной медлительностью. Вышли они из Троицка за несколько дней до составления 26 июня Перовским первого донесения в Петербург об этом деле, а прибыли в Оренбург 22 сентября. У Владимира сохранились самые светлые воспоминания об этом путешествии вдоль реки Урала,— все остальные этапные переходы будут куда страшнее. А здесь шли медленно, с частыми остановками. Караульные быстро поняли, что арестованные и не помышляют о побеге; из 12 караульных солдат при арестованных оставалось человека два, остальные ловили неводом рыбу в Урале и даже «хождаху на кую-любо работу». Но кончилось и это удовольствие.

* * *

Два последовательных события, происшедших в Оренбурге, занимают центральное место в «Повести дивной». Это описание самой экзекуции, мужества казаков, претерпевающих мучение, и предшествующий наказанию главный спор усть-уйских мучеников с властями — основное объяснение их поступка.

Этому большому диспуту предшествовали, как мы видели, несколько меньших, но главное идейное противостояние — именно здесь. (Напомним, что военный суд проходил в отсутствие обвиняемых и в «Повести дивной» о нем — ни слова.)

Операция эта на казенном языке называлась «увещевание» и «Повесть» приводит этот термин, отводя описанию спора целых 22 страницы. Для «увещевания» пятерых казаков собралось «шесть генералов и седьмой протопоп». Во главе этой коллегии стоял некий «генерал атильянт (адъютант? — *Н. П.*), сей бо приеха ис Петербурга, бе бо и жительство имеюше близ царя, и саном высший над прочими генералы».

Первым в бой кинулся протопоп. Он задал вроде бы простой вопрос: «Како вы ныне разумеете о исповедании православныя веры, и о церковных догматех, тако же и о самой церкви?» Но

вспомним: это предложение к религиозному диспуту чиновник официальной церкви делает арестантам, уже свыкшимся с кандалами, делает в присутствии шести генералов, накануне военно-полевого суда (обязательное церковное «увещевание» заблудших составляет часть карательного процесса еще со времен петровского законодательства). Происходит этот разговор о боге во время беседы, которая легко, свободно обернется настоящим допросом. В церковной и военно-полицейской практике был накоплен уже немалый опыт проведения таких «увещеваний»-допросов, когда предлагают откровенно высказаться по вопросам веры, совести и одновременно собирают следственный и обвинительный материал против оппонентов и их друзей. Ленин писал в связи с подобной практикой о «полицейском самодержавии», которое «даже религию <...> пропитало духом кутузки».

Религиозная часть этого допроса развертывалась сначала трафаретно, первые ходы противников повторяли то, что уже десятки раз говорилось старообрядцами и никонианскими увещевателями в подобной обстановке. Казаки на вопрос протопопа ответили, что вера их древняя православная, а «уставы и законоположения нововведенныя нынешняго времени» они отвергают. Протопоп резонно возразил, что ведь и церковь, и казаки верят в одного и того же Христа. В ответ он получил традиционный рассказ о том, как Никон исказил учение Христа, «послуша совета лукаваго Сатаны» и соблазнил царя Алексея Михайловича.

Но вскоре протопоп повернул спор в другую сторону. Взяв в руку свою бороду, он спросил казаков, считают ли они бороду признаком создания человека по образу и подобию божию. Это обычная старообрядческая точка зрения, осуждающая брадобритие за нарушение такого подобия. Так же, несомненно, думали и Трегубов с товарищами, о чем свидетельствует как дальнейший ход диспута, так и документы ЦГВИА. Но «Повесть» сообщает, что Иван Крылов, говоривший от имени всех, дал ответ, который вполне устроил и протопопа и генералов,— что дело не в бороде, а во внутреннем подобии, в добрых делах и т. д. Буквально через несколько страниц в «Повести» словами того же Ивана Крылова будет утверждаться нечто прямо противоположное: еретичество царя он будет доказывать, в частности, тем, что тот «повреждает ус и браду». Как мы уже говорили, в этом споре о бороде примет участие и сам царь.

Мы не знаем, почему «Повесть дивная» заставляет усть-уйских казаков высказывать здесь две противоположные точки зрения, не замечая к тому же противоречия между ними. Исходя из документальных источников 1854 г., логичнее ждать от казаков на этом диспуте именно второй позиции. Можно

высказать осторожное предположение, что в «Повести» первые слова Ивана Крылова о несущественности старообрядческих споров о бороде, отражают уже более поздние, алтайские взгляды Владимира: нам доводилось сталкиваться с подобными рассуждениями сибирских бегунов, как в беседах с ними, так и в их сочинениях.

Увещевательная беседа протопо́па касалась и других религиозных вопросов, но «Повесть» не останавливается на них, переходя к основному. Как только протопоп закончил свою духовную разведку, в бой вступили главные силы, генералы, сразу поставив центральный вопрос: «Что же ради вы не хощете повиноваться власти?» Иван Крылов от имени всех ответил, что власть не от бога, но еретическая, ибо вводит брадобритие; кроме того, по Библии и Кириллу Иерусалимскому антихрист должен восхитить высшую власть и в государстве, и в церкви, а сами генералы вынуждены были признать, что «ныне государь император две власти имеет», «царьскую и святительскую».

Веками православная церковь, действовавшая в союзе с феодальным государством, заботилась одновременно и о том, чтобы более сильный светский союзник не поглотил ее целиком. Эти столетия феодальной автономии церкви в государстве оставили в наследство немало авторитетных текстов, почитаемых в обществе боговдухновенными и отстаивавших идею неподвластности церкви государству. Русское централизованное государство, действуя то руками Малюты Скуратова, то прагматическим богословием Феофана Прокоповича, то респектабельным просветительством Екатерины II, сломило сопротивление церкви и превратило ее в идеологический придаток военно-политической машины абсолютизма. В «Духовном регламенте» 1721 г. царь был провозглашен «крайним судиею» духовного ведомства (т. е., как все правильно поняли, главою церкви).

Однако вскоре начала проявляться опасность этой победы. Еще огнепальный протопоп Аввакум предупреждал, что союз царской и святительской власти, подчинение церкви принимают богохульные формы; после «Духовного регламента» открыто заговорили о том, что царь восхитил прерогативы самого Иисуса Христа, являющегося главой церкви по православной догматике. Это не только укрепило многочисленные теории и легенды о царе-антихристе, способствуя постепенному росту антимонархических настроений, но, главное, все больше вредило церкви и ее возможностям контролировать низы общества в интересах того же абсолютизма. Когда это явственно сказалось в дни пугачевщины, правительство было обеспокоено недостаточной эффективностью церковной проповеди, но принятые им дисциплинарные меры не носили принципиального характера и не могли принести результатов. Казалось, что по мере того, как

русское общество XVIII—XIX вв. принимало все более светский характер, по мере укрепления иных, нецерковных механизмов общественного сознания, вся проблема постепенно теряет остроту. Но царизм не даром до конца пытался использовать церковь в своих интересах. А когда во второй половине XIX—начале XX в. встал вопрос об этом конце, обнаружилось, что на деле церковь не может предоставить самодержавию достаточно действенной поддержки, что полицейская церковь не в силах помочь полицейскому государству.

Таковы были отдаленные последствия «восхищения государем власти царской и святительской», полного поглощения идеологического ведомства абсолютизма военно-политическим. Уральские казаки, конечно, и не помышляли о приведенном выше анализе прошлого или об исторической перспективе. Но они, как и многие другие, ощущали глубинную несправедливость всей этой стороны общественного устройства, соотносили ее с видимыми проявлениями социальной несправедливости, царящей в николаевской России, и выражали это по-своему: антихристовое царство, сатанинская церковь.

Конечно, смелое заявление казаков о том, что государь император, управляющий государством и церковью, является антихристом, вызвало понятный гнев генералов, нашедший тут же громогласное выражение. Однако генеральский окрик делу не помог: казаки еще раз подтвердили: «Аще ли же государь имеет две власти, то по писанию Антихрист есть»; в качестве дополнительного аргумента они привели новую цитату из Кирилла Иерусалимского: «Аще кто возносится паче всех на земли, блюдитеся его, сей бо дух Антихристов есть». В качестве наглядного близкого примера такого «вознесения» они бесстрашно сослались на широко известную похвальбу самого Перовского перед фрунтом: «Возношения есть вид таковый, яко иногда господин Перовский глаголаше своему войску: Аз вам царь, аз вам и бог, несть кроме мене старшаго над вами никого же, мне токмо покаряйтесь!»

Тогда генералы от крика перешли к проникновенным запугиваниям—для блага самих же «заблудших». Но пятеро казаков были готовы к мучениям, к смерти и запугивания не помогли. Рассказ Владимира не может скрыть, что во время этого диспута (как, вероятно, и раньше) главную роль играл Иван Крылов, «понеже он ученнейший бяше в дружине своей и дерзновеннейши в словесех против прочих». Но основной герой «Повести дивной»—Владимир, поэтому в рассказе об «увещевании» значительное место уделено заключительным попыткам генерала Подурова отколоть Владимира как самого младшего от остальных и стойкости Владимира, отвергнувшего самые лестные предложения Подурова («аз тебе буду во отца место»).

Наконец, из «Повести дивной» явствует, что во время всего собеседования генералы старательно пытались решить важную следовательскую задачу—выведать зачинщиков и подговорщиков. Обычная ссылка казаков, что главным подстрекателем их к бунту был Иисус Христос, не помогла—им тут же ответили, что кто-то должен был соответственно растолковать казакам учение Христа и потребовали назвать всех, с кем они беседовали на эти темы. Иван Крылов ответил, что собеседников было так много, что упомнить и назвать их невозможно, за исключением разве самих генералов и протопопа. Похоже, что действительно других имен названо не было.

«И тако много их испытавше, ничто же успеша»—подводит «Повесть дивная» общий итог «увещеванию». На прощание генералы пообещали суровое наказание упрямцам. Вернувшись в тюремное помещение, казаки, естественно, обсуждали, как будет выполнено генеральское обещание. В этих беседах участвовал подружившийся с арестантами оренбургский унтер-офицер Пискунов, старообрядец «поморского» согласия. Как человек опытный, он первым произнес роковые слова «зеленая улица», хотя и сомневался, что казаков приговорят к столь тяжкому наказанию.

Повесть кратко сообщает, что генералы еще дважды «увещевали» казаков, с тем же результатом. И лишь «тогда начаша совещати, каковый суд изнести на них. И тако написаша грамоту, и послаша к государю, изъявляюще ему вся, яже о блаженных страстотерпцех и просяще от него решения суду. И абие прииде к ним от государя сицевый ответ: Таковых преступников, не повинующихся высочайшей власти, повелеваем провести сквозе строй, то есть три тысящи ударов, токмо бити не отделя локтя».

Как видим, «Повесть» правильно сообщает и о вынесенном приговоре, и о предварительных сношениях с государем. Но и отличия от действительности примечательны: автору «Повести» роль государя в определении приговора кажется куда более непосредственной, чем она была на самом деле. Царь не определял числа ударов и тем более не указывал, как бить. Между тем именно в связи с этим якобы имевшим место царским указанием «бити не отделя локтя» в яростном антимонархизме «Повести дивной» появляется некий новый оттенок, характерный для противоположных взглядов, для наивного крестьянского монархизма. Оказывается, Владимир Трегубов всю оставшуюся жизнь прожил в уверенности, что царь-антихрист наказал их довольно «милостиво», а злой царский слуга генерал Перовский ужесточил наказание, приказав в нарушение царской воли бить «от руки»,—что и явилось причиной смерти большинства наказанных: «он же бе вельми

зол и суров и немилостив и никако же не внимаше царскому повелению, но от зельные ярости не можаше удержаться».

Перед нами классический штамп народного сознания.

* * *

Вплоть до дня экзекуции 3 ноября 1854 г. арестованные ничего не знали ни о тайном суде над ними, ни о приговоре — хотя и пытались что-то узнать через горожан.

И когда в ночь на 3 ноября впервые закрыли двери их камеры, а поутру за ними явился генерал, они ни о чем еще не догадывались, не ведали, что для некоторых наступают последние часы жизни.

Генерал с разрешения узников помолился на их иконы, вежливо поздоровался: «Вздравствуйте, старички!» Он еще раз спросил, не передумали ли они и получил отрицательный ответ.

Так начинается кульминация всего рассказа «Повести дивной», и мы даем слово нашему источнику, повествующему о событии в мельчайших деталях, подчас обыденных, подчас страшных.

«Тогда глаголя к ним генерал: Аще ли тако суть, яко же глаголете, то одевайтесь, пойдемте со мною. Они же агницы незлобивии о кротостию ему рекуще: Ваше превосходительство, мы хотехом днесь измыти ризы наша, омочихом бо их в лоханю, и что ныне сотворим с ними? Он же рече им: Оставите их, да измоют оставшии зде, они бо сохранны будут и никако же утеряются; вы же последуйте мне. Блаженнии же мневше, яко недалече некамо хощет вести их, и тако надеша одежды летния. А бе же третие число ноября, и в то утро мраз бе. И тако пойдоша за генералом. Егда же выступиша ис полаты, бе же крыльце полаты тоя высоко зело, а пред полатою, амо же бяху двери полатнии, бысть площедь во все четыре страны, аки на седмь поприщь. На той же площеди повеле генерал Перовский поставити шестьсот салдатов по плану прямой улицой, по триста на сторону, и приготовити прутиев множество, связати же их в пучки и поставити подле фрунта рядами ради страха, мняше бо лукавый, яко егда начнут подводити блаженных ко фрунту, они же, видевше прутиев онех пучки, абие устрашатся и тако отвергутся своего предложения. Но не бысть тако, яко же он умысли, понеже бо не его бе воли таковое хотение, но божественное строение, еже показати храбрость и мужество и терпение непобедимых своих воинов. И тако повеле генерал каждаму салдату взяти розгу в руку, еже есть прут, а прута же величество: длина его яко шесть четвертей, а толщиною аки совершеннаго мужа указательный перст, а блаженных страсто-

терпцев вести среди фрунта обнаженных и бити со обоих стран во всю руку.

И тако блаженнии выступиша из дверей полаты тоя, иде же пребывающе, идуще за генералом. Той же бе генерал, прозываемый Подуров, понеже бо Перовский поручил свое дело Подурову, еже наказовати блаженных, а сам же не можаше прийти и видети их, злобы ради лютости своея. Понеже бо на толико он беяше лют, яко и не видя блаженных, но и тако преступил царское повеление—от государя бо бе ему приказано, не отделя локтя наказовати, он же повеле во всю руку бити, аки скота.

Подуров же, исполняя повеленная, иде ко блаженным и кротко зваше я, глаголя: Одевайтесь, старички, пойдемъте со мной. Они же, аки агнъцы незлобивии, ничтоже размышляюще, абие одевшеся, грядяху вослед его.

Бе же за генералом предний грядый блаженный Иоанн. Егда же изыде из дверей и возрев на площедь, и виде на площеди фрунт стоящий и множество много народа, собравшихся на всенародное то позорище. Понеже бо генерал повеле по всему граду послати публику, да снидутся вси на оную площадь и видят ужасное оно и великое чюдо, новых страдальцев мужество и терпение. И тако снидеся ту народа многое множество, тысящи тысящами, яко и исчести невозможно, не токмо бо от того града, но и от прочих окрестных градов. Егда же виде сие блаженный Иоанн, абие озреся вспять и рече дружине своей: Видите, братие, еда како нас ради сия трапеза уготована есть; ныне убо, братие, крепитися подобает нам и помнити слово, реченное нам вначале познания нашего: еже что от него (антихриста.—*Н. П.*) будет, терьпи до конца, спасен будешь. Егда же сие изрече блаженный Иоанн и вси возведше очи свои и видеша фрунт стоящий, ужасошася сердцем, и тако пойдоша напредь.

Бе бо плошедь она широка и чиста, и несть ничто же застенающаго ю, и видяшеся фрунт, аки на блюде. Егда же снидоша с крыльца полатнаго на землю, ту абие стояше колесница, на ней же генерал приеха, и 12-ть салдатов во всем воинском уборе и с ружьями».

Здесь пятеро усть-уйских казаков впервые увидели своего единомышленника, выведенного для наказания вместе с ними. Это был Евдоким Кокушкин, «канонир № 18 казачьей батареи», как он аттестован Перовским в доношении военному министру от 4 ноября. «Повесть дивная» говорит о нем: «Бе бо он родом казак же, недалече от града Оренбурга, того же войска шестого полка», было ему 22 года и он просидел под арестом уже год. Он принадлежал к поморскому старообрядческому согласию, но «Повесть» подчеркивает, что это было «прежде», а затем он

«начат познавати Антихриста, того ради не хотяше повиноватися власти, обличая его богоборную лесть» (известный центр поморцев — Выговская пустынь признавала тогда царскую власть и молилась за императора, но были, особенно на востоке страны, поморяне, не одобрявшие этого). Е. Кокушкина судил военный суд и вынес то же наказание, что и усть-уйским казакам. Последние в тюрьме заочно познакомились с Евдокимом, используя посредничество поморца унтера Пискунова. Евдоким «остави свое поморское разумение» и «прилепися сердцем и мыслию» к усть-уйским казакам, последние заочно же «приняли его во общение». Эта формула (повторенная несколько раз) означает, что они ощущали себя особым согласием, особой организацией, в ряды которой они приняли Евдокима. Несомненно, что именно так понимал позднее на Алтае Владимир смысл происшедшего более четверти века назад в Оренбургской тюрьме. Но повторяем, нам кажется сомнительным, чтобы отгораживание от остального старообрядчества Владимира и его друзей на деле было в 1854 г. столь значительным, как это ему позднее представлялось.

Однако пора вернуться к рассказу «Повести дивной» о событиях 3 ноября 1854 г.

«А егда же они прийдоша на край фрунта, и ту абие ста генерал, и повеле народу мало отступити. Слышав же народ, абие отступи. Тогда ста посреде и громким гласом рече во услышание всем, глаголя сице: Последний раз я вас казаками называю. Естли вы хощете обратитися на старое положение и государю императору повинетеся, то аз имею власть и могу вас в сей час отвести от фрунта. А ежели пребудите во своем намерении и не хощете повиноватися высочайшей власти, то, видите фрунт сей, про вас сие уготовано есть.

Слышавше же сие от генерала, блаженнии страстотерпцы тогда аки единеми усты отвещавше, глаголюще: Ни, никако же не буди сего, еже бы отрещися нам древняго благочестия и приступити к нечестию. Лучше желаем смерть вкусити, нежели от предания апостольского и святых отец отступити. Таковый их великоревностный ответ слышав, генерал абие обратися к близ стоящему его слузе, имущему грамоту написанную в руках своих и рече ему: Читай кафермацыю. Он же абие выступи посреде и начат чести громким гласом во услышание всему предстоящему народу, глаголя сице:

Таковых-то казаков Оренбургскаго войска десятаго полка Усть-Юйской станицы за неповиновение высочайшей власти его императорскаго величества государя императора Николая Павловича издаем конечный суд, повелеваем их вести сквозе строй, то есть сквозе тысящнаго полка прогнать три раза, еже есть три тысящи ударов. А по истечении срока и числа сего

наказания лишить их всех прав состояния и определить их на 15-ть лет —и еще мало речь не дополни, абие генерал жестоко воскрича на нь: Лжеши! Той же паки крикнув:

на 12-ть лет в каторжную работу.

Егда же прочет сия, абие умолкну. Тогда слышавше блаженнии конечное на ся суда изречение, реша к генералу: Ваше превосходительство, не возможно ли нам по обычаю християнскому положить начал на восток? Генерал же рече им: Возможно есть, господа, положить вам начал, кладите по обычаю своему. И абие рукою помаав к народу, глаголя: Отступите, на обе стороны, и дадите к востоку улицу положить начал. Абие народ разступися и сотвориша к востоку улицу. Паки рече им генерал: Ныне, друзи, кладите начал по обычаю вашему. Они же положиша седмипоклонный начал и, простившеся и благословившеся и давше друг другу последнее целование, абие восташа. Тогда рече к ним генерал: Ныне, друзья, раздевайтесь, скидайте одежды своя и ризы. Блаженнии же начаша совлачитися, бяху бо на них одежды летния, называемыя пододевочки, а на овех зипунчики. Егда же они скинуша одежды своя, тогда генерал повеле ундером-офицером направляти их. И тако ундеры начаша направляти их вход по пути царскому».

Далее в «Повести дивной» идут строки, объясняющие вроде бы неожиданное сравнение «зеленой улицы» с «путем царским». Это отнюдь не намек на жестокость царя-антихриста, совсем наоброт. «Царский путь» — путь царя Славы, Иисуса Христа; «зеленая улица» казаков в торжественном, развернутом сравнении сопоставляется с путем Христа на Голгофу. Здесь корни того ощущения особой судьбы богоизбранности, которое не покидает затем Владимира Трегубова всю жизнь. В строках этого сравнения появляется и звучит все сильнее важный художественный образ — очищающего огня. Совлекши перед наказанием, подобно Христу, одежды, приготовившись к «огненному жжению» шпицрутенов, казаки в себе «отвергли ветхаго человека» с его человеческими грехами; пройдя через огонь наказания, они спасли себя, победили антихриста, «победныя венцы восприяша от вседержительныя руки Спасовы». Погибшие от наказания получали вход в «вечныя обители святых». Но и на выживших остался божественный отсвет безгрешности; прошедшее через огонь мученичества естество их стало иным, получило «духовное рождение». Эта теория «Повести дивной» неканонична, она противоречит догматам православия, ибо имеет слишком близкое сходство с учением церкви о подобном же божественном перерождении человеческого естества праведников в огне страшного суда. Владимир же, единственный из всех смертных (Алексей — не в счет для «Повести дивной»),

сподобился того же до страшного суда, еще на «старой» земле, не прошедшей через этот огонь — вещь совершенно невозможная для православного вероучения. «Повесть» не развивает этот опасный сюжет сколько-нибудь четко и подробно, но и сказанного достаточно.

Вслед за этими возвышенными рассуждениями наш источник возвращается к описанию страшной экзекуции: «Егда же начаша ундеры направляти дело и взяша одежды блаженных и положиша их в телеги приготованныя, бяху бо ту приготовлены кони, впряженныя в лубовыя телеги, яко да егда блаженнии страстотерпцы пройдут ту реку огненую, тогда вести их в тех телегах в больницу. Бе же всех ундеров-офицеров числом 12, а блаженных же страдальцев числом шесть, и тако определиша на каждого человека по два ундера-офицера. Тогда офицеры сотвориша ружья свои крестообразно, тако же и руце блаженных положиша на ружьях крестообразно же и ризами привязавше. Веземше же ундеры-офицеры кождый свое ружье в руки и поведоша блаженных впредь лицем, сами же вспять зряще, ведяху блаженных по фрунту. Ведуще их по два ундера-офицера каждаго человека, а салдаты же со обоих стран ударяюще их прутиями во всю руку.

Ведяху же блаженных страстотерпцев по той зеленой улице по чину друг за другом. Перваго поведоша Кокушкина Евдокима, понеже он мужественнейши беяше против дружины своей высочеством возраста и крепостию тела, того ради и преди всех веден бысть. Втораго же по нем поведоша Максима, третияго Иоанна, четвертаго Алексея, пятаго Петра. Меньшаго же брата блаженныя троицы трех онех братиев последи всех ведоша, яко же бо он по плоти в рождении против братий своих бысть последний, тако же и в духовном сем рождении, сиречь в прехождении тоя огненыя реки, еже есть во страдании, прилучися ему быти последнему же».

Характерная деталь: Владимир не умолчал, что шел последним. Но «Повесть дивная» спешит дать естественное объяснение этому, чтобы никто не подумал, что был он последним по значению.

«Идущим же им по улице той, секутор (знаменитая народная переделка казенного термина «экзекутор».— *Н. П.*) же идяше со страны и глаголаше: Крепче, крепче! Смотряше же секутор опасно на воинов, како кто ударяет, бе же ему повеление сие от старейших опасно сие назирати: они бо немилостивии и жестосердии судии измену сие вменяюще быти, того ради и повелеша секутору опасно назирати, аще который воин от жалости легчае ударит, того он записоваше. Яко же последи ведевшии сия поведаша, яко и много обретеся таковых, иже от жалости не могуще жестоко бити блаженных страдальцев.

Глаголюще бо, яко обретеся таковых числом до двадесяти пяти человек. Их же последи неправеднии судии жестоко мучиша, да не научатся, глаголюще, и прочии противитися высочайших властей повелению».

Еще одно свидетельство точности данных «Повести дивной». Гнусность наказания шпицрутенами заключалась в том, что, зачастую убивая наказуемых, экзекуция должна была убивать человеческие чувства в сотнях и тысячах солдат с прутьями, в целых воинских частях. Но и николаевская военная машина не в силах была вытравить из солдата человека, поэтому каждая экзекуция требовала строгого надзора за самими солдатами, примерного наказания сострадательных. Вспомним, что именно эта сторона наказания более всего потрясла Толстого, именно ее поставил он в центр сюжета своего рассказа; это рассказ не о забитом насмерть солдате, а о полковнике, расправлявшемся с теми, кто слабо бил.

«А егда же поведоша блаженных по фрунту, тогда един некий, идяше по за фрунту и бияше в барабан и приглашая, глаголаше сице:

Пройди, пройди, молодец,
Не далеко твой конец!»

Каков образчик палаческой поэзии!

«И тако блаженным умиленно идущим, а салдатом же со обоих стран крепко биющим, плоти же их кусками на землю валящися и крови источники лияхуся, яко и самой земли обагрятися. Блаженным же страстотерпцем ничто же ино во устех бяше в той час, егда идяху сквозе великий той пламень, токмо молитва Исусова. Егда бо коегождо их воин прутом ударяше, то он велегласно возглашаше: Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго! И тако блаженнии пройдоша первый конец, еже есть шестьсот салдатов, приемше шестьсот ударов. Первый Кокушкин пройде невредно, тако же Максим и Иоанн, и тии пройдоша еще в силе, и Алексей такожде не изнеможе. А Петр же, егда пройде строй весь, абие паде от изнеможения. Видевше же его падша, немилостивии слуги, вземше и вложиша его во оную лубяную телегу, уготованную на увезение их в больницу.

А меньший же брат их, иже последи всех шедый, егда блаженный он пройде еще первую половину фрунта, абие начат падати на колену. Ундеры же офицеры поддержающе его, и паки на нозе поставляюще. И тако другую ту половину иде раб божий, часто падая на колену, не могий терпети жестокаго того ударения, мняше бо ся ему то ударение, яко огненное жжение. На толико бо немилостивии тии слуги жестоко бияху их, яко и словом изрещи немощно. В то же время сему рабу божию некоим прилучаем обретеся телоносный крест назади и егда же

воин удари блаженнаго прутом, и угоди по кресту, и абие медный тот крест свися в кольце. Аще ли же медный крест на теле в кольце свися от ударения, то коликая жестость и лютость в чювствии плоти блаженным страстотерпцем беяше в то время!»

«Повесть дивная» не ограничивается этим риторическим восклицанием. Именно здесь слово непосредственно берет сам Владимир, чтобы от первого лица рассказать нам о своих переживаниях, о том, что чувствует человек, которого ведут сквозь строй.

«Яко же сам раб божий (Владимир.— *Н. П.*) последи некогда поведа нам, глаголя:

„Мнех бо ся, рече, тогда, яко во огни стояти ми. Егда же ударяху мя, и то не мнех аз, яко прутом ударяют, но яко огнем жгут, или ножем режут мя по хребту моему. И от толикия болезни и тяжести не могох стояти на ногах моих, но аки вне себе бых и падох на землю. Слуги же, ведущие мя, подымающе, поставляху на ногах моих. Аз же, егда ощутив ударение, паки падах на землю, и ниже памятовах сие, яко падаю, но ничто же ведях деющаго ми ся"».

Составитель «Повести дивной» хорошо понимает особое, исключительное значение этого уникального рассказа. Недаром его и только его выделяет он как прямую речь самого Владимира. Затем он возвращается к изложению в третьем лице:

«И тако блаженный он, идый и часто падая, егда же приближися к концу фрунта, яко остася еще человек пятьдесят или менее, абие паде блаженный и не могоша его возставити ундеры-офицеры, но тако влечаху его по земли, глаголюще сице: Иди, друже, иди, еще бо ти много есть шествия по пути сему, аще ли не днесь, то во иное время проходити же тебе его. Видев же сие секутор абие рече: Отставить сего!

Вземше ж слуги и положиша в телегу, иде же и брат его Петр лежит, тамо и сего положиша, токмо во особую телегу, и накинуша на них сверху пододевочками. А от исподи же телеги мраз бе, понеже в той день мраз велик бысть и ветр зельный, а время же бе утреннее, яко едва взыде солнце. И тако блаженнии лежаще в телегах тех наги и уранены и кровию обагрены и мразом померзаеми. Бе же видение их умиления и слез исполнено. И егда же поведоша раба божия вложити в телегу, Алексей же возрев на нь и виде тело его уранено и кровию обагрено, и абие нападе страх на нь и ужасеся сердцем к тому, не возможе более пойти по фрунту. Секутор же повеле оставити и сего, и тако вложиша и того в телегу.

А блаженная же троица, Евдоким и Максим и Иоанн, паки поидоша по фрунту во второй конец. И два от них, Максим и

Иоанн, не дошедше средины фрунта, абие падоша. Секутор же повеле и сих отставити. И тако вложиша и сих в телеги, идеже и братия их. А блаженный Евдоким один паки пройде и вторый конец, еже есть тысящу и двести ударов прият. И пако хотяше еще третие ити, понеже сей блаженный мужествен бяше телом и крепок, яко и вдвое терпяше против дружины своея, но и еще силу имяше и паки третие ити хотяше. Аще и вельми уранен бяше, но не толико болезни чуяше, яко же тии блаженнии. Понеже бо на толико жестоко их немилостивии они слуги бияху, яко блаженному Евдокиму и левый бок пробиша до внутренних, даже и видетися внутренним его, сему же тако бывающу. И абие позрев блаженный Евдоким семо и овамо, и никого же около себе виде братий своих, токмо он един, и сжалиси зело, яко они его ради мерзнут, абие рече в себе: Что аз разгулялся, а братия же моя дрожжат и мерзнут, аз же гуляю. Ни, не буди сего, престану и аз гуляти зде. И абие отторг руце свои, глаголя: Не хощу аз более пойти. И тако секутор повеле и сего отставити. Отставлену же бывшу блаженному, и положиша его в телегу, и тогда повезоша их в больницу».

Это страшное, уникальное в своей реалистичности описание экзекуции «Повесть дивная» заканчивает на торжественной ноте — на панегирике подвигу казаков, удививших своим мужеством небо и землю: «земля абие ужасеся и вострепета», «чины небесныя дивством содержими бяху», «а человецы же подобострастнии, видяще таковое их мужественное терьпение, наипаче яряхуся».

Более всех ярился, как думает автор «Повести», генерал Перовский; напротив, генерал Подуров «идяше позади фрунта, зря вольное терьпение новых страдальцев, умиляшеся сердцем и от жалости не могий слез держати плакаше и платом слезы отирая».

* * *

Оренбургская экзекуция произошла на исходе сроков, отпущенных историей николаевскому палочному режиму военно-отеческого крепостничества. Сроки эти, уже не раз отодвинутые терпением и страхом, невозможно было отодвигать далее. Статистика крестьянских выступлений 1850-х годов внятно свидетельствовала, что терпению пришел конец. Петербургская машина создания страха, еще недавно казавшаяся неодолимой не только в России, но и во всей Европе, стала давать серьезные сбои. Среди многочисленных признаков этого историки запишут теперь и смелое публичное объявление царя антихристом, сделанное шестью оренбургскими казаками и, особенно, то, что неоднократные попытки увещевателей и экзекуторов запугать казаков, заставить их отказаться от своих

опасных слов окончились неудачей—казаки победили в себе страх, и именно это неоднократно будет подчеркнуто «Повестью дивной» как их главный подвиг.

В те же дни неожиданная слабость российского самодержавия была с предельной наглядностью продемонстрирована в битвах Крымской войны. Крах константинопольских, ближневосточных амбиций Николая I осенью 1854 года уже перерастал во все более неотвратимую угрозу общего поражения. Русские солдаты и матросы по-прежнему сражались с удивляющим Европу геройством, но оно не смогло теперь избавить страну от поражения. Позади уже были Балаклава и Альма, 13 недель оставалось до Евпатории. Этого позора царь не сможет пережить. Подавленный, сторонящийся всех, он будет по ночам одиноко вышагивать по Зимнему дворцу и улицам столицы. 18 февраля 1855 г. царь умрет, и хотя в официальном сообщении будет объявлено—от воспаления легких, в Петербурге будут упорно ходить слухи о самоубийстве. Знаменитыми станут слова Герцена о том, что «Имперникель» умер от «Евпатории в легких».

Вечером 3 ноября 1854 г., когда наказанных оренбургских казаков на тряских телегах везли с места экзекуции—Николаю I оставалось еще три с половиной месяца жизни. Перовскому—почти три года, Максиму и Петру Трегубовым—несколько часов, Ивану Крылову—чуть больше недели, Евдокиму Кокушкину—около полугода, Владимиру Трегубову и Алексею Киселеву—больше четверти века.

Их везли в больницу, где врачи должны были их лечить. Лечить ради торжества законности, чтобы осужденных можно было опять гнать сквозь строй, чтобы они получили назначенные им три тысячи ударов; пока же Владимир и Алексей получили лишь пятую часть этого числа, остальные—две пятых. Лечить, чтобы можно было продолжить истязания—такова была неизбежная формула тюремной медицины. Понятно, что смерть в больнице, до очередной экзекуции, казалась казакам желанным избавлением от мучений. И одновременно избавлением от новых попыток сломить их дух, заставить отказаться от сделанной ими категорической оценки императорской власти (такие попытки продолжались и в больнице). В подобных обстоятельствах нет ничего удивительного, что наказанные вспомнили о старообрядческих эсхатологических рекомендациях «истаяти гладом», чтобы не подчиниться антихристу. Свое пребывание в больнице они начали с отказа от приема пищи и лекарств, а на уговоры врачей и начальников отвечали:

«И что же ради вы хощете целити нас, или сие мните, яко егда оздравеем, паки таковыя же язвы наложите, а нам уже и сего довольно, есть бо нам сие до сытости».

В этих спорах Петр и Максим Трегубовы уже не участвовали — они скончались вскоре после прибытия в больницу.

Еще по дороге в больницу наказанные испытывали отчаянные муки, лежа на голых досках телег, на локтях и коленях, страдая не только от ран, но и от неожиданно сильного в тот день мороза. Когда телеги подъехали, наконец, к больнице, казаки уже не могли двигаться. «Бяше бо им по хребту яко едина язва, от главы даже до ног, к тому же еще и померзше мразом, и быша аки мертвы».

Их внесли сначала в ванное помещение больницы (Владимир объясняет своим сибирским слушателям, что это такое: «Бе же у больницы выстроена полата теплая, называемая ванна; в ней же уготованы бяху большыя чаны, в них же наливают воды, и в те чаны подведена ис пещи продуха, и тою продухою пущают пар в чаны тыя и согревают воду; в ту же теплую воду сажают больнаго человека даже до выи, а иногда до пояса»). Наказанных побоялись, однако, поместить в воду и отогревали паром. Затем их ввели в «полату», положив на «одрах», застеленных соломенными перинами и подушками.

Вскоре у них начался сильный жар, лечение пока ограничивалось рекомендацией поливать голову уксусом. Бессонная ночь прошла в тяжких муках, лишь Петр сказал, что хочет уснуть и вскоре затих, как потом оказалось — навсегда.

Остальные заметили его смерть около полуночи, когда обеспокоенный его неподвижностью Евдоким с трудом дополз до «одра» Петра. Врачи узнали о первой смерти рано утром, на рассвете. Тогда же они обратили внимание на плохое состояние Максима. Ему насильно, несмотря на его отказ, дали какие-то «облегчительные капли».

«Егда же они капли тыя вливаху во уста блаженному Максиму, тогда меньший брат его, опасно смотряше на нь, и виде, яко они принесоша малую сткляницу, в ней же бяше некое растворение бело, аки снег. А егда же они влияша во уста, ему абие отидоша. Меньший же брат, смотряше на нь прилежно, и виде, яко лице блаженнаго Максима помалу нача белети, и тако более прибавляшеся белость и внезапу бысть все бело, аки снег. И в той час предаде блаженный Максим душу свою в руце господеви».

О двух смертях было сообщено главному врачу больницы Колышкину. Врач, подававший Максиму капли, упросил казаков не говорить Колышкину об этом, заверяя их всячески, что это было «не смертное», но «облегчающее» питье.

Читая рассказ «Повести дивной» о больничных событиях, как и многие другие страницы этой удивительной книги, все время ощущаешь специфику мировоззрения ее автора. Его реакция на происходящее существенно отличается от той,

которую привычно ожидаешь. Это одинаково чувствуют и нынешние читатели «Повести» и люди, окружавшие тогда ее героев, но принадлежавшие к другой культуре, к другим слоям общества.

Так, рассказав об «облегчительных» каплях и беспокойстве врача, Владимир не придает ни малейшего значения выяснению всего этого вопроса, читатель остается в неведении о непосредственной причине смерти Максима: казаки разъясняют врачу (а автор «Повести» — читателю), что их все это нимало не интересует и не беспокоит:

«Не печалуй, друже,— отвечают они врачу,— о сем никако же. Что же ради мы будем глаголати на тя, мы бо и кроме сего смерти желаем, аще бы ты и смертно подал еси, мы же о сем никако же не радим».

Стоит, однако, вдуматься, и логика этого странного на первый взгляд ответа становится понятной. Все они еще находятся рядом со смертью и смерть сейчас, в больнице для них желаннее, предпочтительнее кончины после очередных хождений по «зеленой улице» — независимо даже от старообрядческих оправданий смерти за веру, хотя «Повесть», конечно, подчеркивает именно эти оправдания, и они действительно имеют для казаков немалое значение.

«Главный доктор» Колышкин конечно же не мог предположить, что его слова и действия будут понятны автором «Повести дивной» как новые доказательства чудесной богоизбранности наказанных за обличение царя. Когда Колышкин анатомировал тела Петра и Максима, он обратил внимание на их отчаянную обескровленность после экзекуции — даже сердца были белыми.

«Повесть дивная», рассказывая об этом, вроде бы находится в кругу понятий нового времени, подчас пытается даже использовать новую терминологию («натомить» — анатомировать). Но в результате получается вполне традиционный по духу житийный рассказ об удивительных чудесах, свидетельствующих о святости и богоизбранности мучеников («белые сердца»!).

«И рече им (Колышкин купцам старообрядцам.— *Н. П.*): Видите, друзи, яко аз имею уже шестьдесят лет от роду, а на сем деле уже лет тридесять, и колико аз натомих мертвых, никако же николи же видех таковых сердец, и мню, яко не наше се дело, еже погребению их предати. И абие рече к купцам, старообрядцем сущим: Возьмите, друзи, телеса сия и по обычаю вашему погребите их, мы бо недостойни есмы даже и видети их».

Оренбургские купцы-старообрядцы, несомненно, считавшие наказанных своими единоверцами, «честно погребоша» Петра и Максима в одном гробу, отлив на их могилу памятную плиту с

надписью об их подвиге. В «Повести дивной» эта надпись приводится в вольном пересказе, по которому трудно судить о подлинном тексте; пересказ этот смело называет основную суть их деяния:

«Ясно и дерзостно изобличивши всепагубную лесть лютаго зверя, льстеца и богоборца Антихриста, того ради законно и праведно пострадаша и великое мучение прияша от безбожных и немилостивых человек в лета от сотворения видимыя твари 7362-е, а от воплощения божия слова 1854-е, месяца ноября, 3-го числа в среду»[1].

Умерших похоронили, а живым приходится думать о том, как жить дальше. Сначала решили, что лучше сразу последовать за Петром и Максимом, чем опять идти на казнь. Три дня казаки отказывались от еды и лечения, отвечая на все уговоры докторов, что они желают умереть. Затем «прииде в больницу старейший надзиратель больницы и всех докторов, чином офицер». Ему в конце концов удалось убедить казаков начать принимать пищу при условии, что еда будет приготовляться не в больнице, а в домах купцов-старообрядцев. От любого лечения (кроме уксусных примочек на голову) наказанные по-прежнему отказались.

Хотя «Повесть» сообщает обо всех этих переговорах довольно глухо, опуская ряд важных подробностей и не подчеркивая изменение позиции казаков, не приводя мотивировку этого изменения, можно понять, что оно прошло не без споров между наказанными. Выявились две позиции. Иван Крылов категорически отказался прекратить голодовку, остальные согласились принимать пишу от старообрядцев. Забыв свои недавние рассуждения о том, что такое принятие полностью приравняло бы казаков к тем старообрядцам, которые лишь внешне порвали с «миром Антихриста», а на деле подчинились ему, автор «Повести» всячески восхваляет как богоугодные оба решения — и Ивана Крылова, и остальных. Но на деле перед нами две различные линии поведения, давно уже существующие в старообрядческом, а затем и бегунском отношении к «миру Антихриста» и связанные со степенью радикальности отрицания этого мира. Недаром позиция Владимира, Алексея и Евдокима устроила «офицера-надзирателя» — это было хорошо известное ему

[1] Характерная деталь: Владимир допускает ошибку в переводе послепетровского летосчисления «от рождества Христова» на древнерусское «от сотворения мира»: в связи с переносом начала года с 1 сентября на 1 января для месяцев с сентября по декабрь разница между датами обоих летосчислений составляет не 5508, а 5509 лет. При этом правильно написана дата по новому исчислению: именно по нему живут уже в алтайском скиту Владимира. Автор «Повести», стремящийся придерживаться традиций старообрядческой письменности, не всегда твердо знает эти традиции.

нежелание старообрядцев смешиваться с «мирскими» в еде, не больше. И трое наказанных, и оренбургские купцы явно считали себя при этом членами одной старообрядческой организации, причем казаков не смутила несомненная умеренность и религиозной, и политической позиции купцов. Бегунский радикализм окончательно победит в мировоззрении Владимира позднее. Но конечно же, главный герой «Повести дивной» не может на страницах повести оказаться в своем протесте менее решительным, чем кто-либо из его друзей. Вот почему наш источник стремится умолчать об интересных для нас спорах, равно благословляя обе стороны.

Зато «Повесть» очень подробно, на нескольких страницах, рассказывает о преклонении оренбургских купцов перед мучениками, о помощи им, о том, как дочери купцов Онуфриева, Лебедева и Замощикова «каждодневно прихождаху ко блаженным страстотерпцам», как они буквально завалили больничную палату всевозможными яствами.

В этой же палате умирал без пищи Иван Крылов; после экзекуции его организм выдержал лишь семидневную голодовку.

Эта смерть, наконец, обеспокоила оренбургское начальство и привела к существенному облегчению участи оставшихся в живых.

Возник бюрократический спор о том, кто несет ответственность за смерть Ивана Крылова.

Неполная осведомленность и особенности мировоззрения Владимира, несомненно, накладывают значительный отпечаток на рассказ «Повести дивной» об этих событиях. Она сообщает, что главный врач больницы Колышкин «ужасеся скорому умертвию трех человек» и поспешил отвести возможное обвинение от больницы. Он «огорчися зело на генерала Перовского, его бо то дело бяше, еже настояти суд той» (отметим, кстати, точную реалию «Повести»: мы видели, что оренбургские казаки, действительно, были преданы военному суду по настоятельному требованию Перовского). Колышкин отправил Перовскому резкое письмо, доказывая, что он не виноват в смерти казаков. Владимир, конечно, этого письма не видел, в лучшем случае до него могли дойти какие-то слухи о сути этого послания. На страницах нашего источника оно выглядит очень красочно:

«Василий Алексеичь!—якобы пишет Колышкин Перовскому.—Вы мне не посылайте мертвых человек воскрешать, но токмо посылай больных исцелять. Аз бо еще не навыкл есмь мертвых воскрешать, но токмо художество имею больных исцеляти. А ты же трех человек убил еси и прислал ко мне целити. Сие дело мне отнюдь есть невозможное».

«Повесть» рассказывает далее, что письмо Колышкина попало к Перовскому, когда у него был приехавший из Петербурга «по особным поручениям министр». «Министр же взем послание то и прочет, абие ужасеся сердцем и жестоко начат поношати Перовскому». Эти упреки привели в конце концов к тому, что Перовский приказал освободить оставшихся в живых от дальнейшего наказания шпицрутенами, ограничившись уже полученным ими числом ударов и сибирской каторгой.

Страницы «Повести», посвященные подробному изложению разговора министра с Перовским, конечно же, лишены документальности и являются плодом вымысла Владимира, основанного на каких-то догадках оренбургских купцов о причинах «помилования». Но тем интереснее нам, как же объяснял сам Владимир происшедшее. И здесь мы опять явственно замечаем то же влияние идей наивного крестьянского монархизма, о котором уже писали выше. Даже царь-антихрист, оказывается, был сравнительно милостив, ибо он приказал наказать казаков «с милостью, не отделя локтя»; в смерти троих казаков, получивших далеко не смертельное по тогдашним оценкам число ударов, виноват прежде всего Перовский, приказавший «пренебрегая царское повеление» бить их «не яко человеки, но аки скота или зверя... во всю руку».

На деле царь не вдавался в детали организации экзекуции, порядок которой был давно разработан и определен. Царь, как мы видели, утвердил лишь общий принцип строгого наказания — в полном соответствии с предложением Перовского. Приговор военно-полевого суда также был конфирмован в Оренбурге Перовским.

Но до чего же стойкими были народные представления о жестоких слугах милостивого царя, если они сохранились даже в сознании людей, считавших этого царя антихристом!

«Повесть дивная» красочно описывает далее, как министр, вернувшись в Петербург, сообщил государю о нарушении его воли Перовским (который в связи с этим даже назван «государственным преступником»!). Царь потребовал Перовского «в столичный град Петербург предстати государю. Он же, яко услыша сия, зело убояся и абие испи смертное зелие и тако издъше и сконча суд, изнесенный на ся». (На деле, конечно, этого царского гнева не было, а Перовский умер своею смертью через два года после кончины Николая I.)

Так на наших глазах действительность преображается под пером автора нашего источника и самый жестокий злодей погибает, как Иуда, от собственных рук.

Погибает вскоре и его верховный начальник, царь-антихрист. Но «Повесть дивная» не использует этого вполне реального факта для естественных в ее системе понятий морализирующих

выводов, смерть царя просто констатируется. Быть может, дело в том, что по церковному учению смерть антихриста произойдет лишь в особой обстановке кануна страшного суда, от рук победившего его Христа. Хотя многие старообрядческие течения давно уже не понимали этого учения буквально, но автор «Повести», возможно, не желал углубляться в соответствующие догматические рассуждения. Как бы то ни было, о смерти царя сообщается кратко и без оценок:

«Не по мнозе же времени умре и государь Николай Павловичь и в него место воцарися наследник сын его Александр Николаевичь.

Того ради в то время оставиша суд, яже о блаженных, но свои недостатки исправляху. (Какова аттестация буржуазных реформ правительства Александра II! — *Н. П.*) Блаженнии же пребывающе в больнице, благодаряще бога».

На обильном купеческом довольствии Владимир и его друзья постепенно справились с тяжелой горячкой, стали поправляться. «Мало по малу начаша оздравети, начаша же и аки малыя дети помалу на нозе вступати», затем ходили, опираясь на палки.

К концу третьего месяца пребывания Владимира, Алексея и Евдокима в больнице начальство решило, что они уже вполне готовы для пешего этапного шествия в Иркутскую губернию, на каторгу. В последний раз у них осведомились, не желают ли они ценою отречения от своего протеста избавиться от каторги и вернуться по домам. После решительного отказа их назначили на 2 февраля 1855 г. в очередной этап. Генерал Подуров прислал им «на дорогу» через адъютанта пять рублей серебром. Казаки возблагодарили бога и доброго генерала.

* * *

Трое казаков отправились в кандалах в Сибирь 2 февраля 1855 г. «в рестанской партии, то-есть посреде убийственных и злодейственных и законопреступных человек» — российские самодержавные власти предпочитали не отделять «государственных преступников» от воров и убийц.

На пасху (27 марта) этап прибыл в Уфу, тюремные власти разрешили арестантам праздновать каждому по своему обычаю и разумению день воскресения бога любви и милосердия, и «Повесть дивная» особо подчеркивает, что из всех арестантских молитв лишь молитвы Владимира и его друзей были истинными и возносились к престолу всевышнего.

Вскоре после выхода из Уфы Евдоким признался Владимиру, что его очень страшит сибирская каторга что он боится не выдержать, тем более, если будет один. Он считал весьма

вероятным, что на каторге его отделят от друзей. Евдоким сказал, что видит лишь один путь, чтобы избежать ужасов каторги и не пасть духом, не подчиниться антихристовым властям: «Не прияти телесныя пищи, но гладом и жаждею истаяти пред богом, аки воск». Владимир и Алексей благословили его на это. Узник начал тайную голодовку, бредя с этапом в кандалах. Лишь на двенадцатый день он свалился. Алексей сказался больным и конвойный унтер-офицер приказал посадить его на коня. Несколько раз он падал с коня под улюлюканье уголовников, всячески досаждавших ему. Вечером того же дня этап, наконец, прибыл в Тобольск. Евдокима поместили в тюремную больницу, где он продолжил голодовку. Владимир и Алексей через день ушли с этапом в Тару. Там они под видом болезни смогли задержаться до следующего этапа, чтобы узнать о судьбе Евдокима. С новым этапом пришел один из свидетелей его смерти, наступившей в тобольской тюремной больнице на 24-й день тайной голодовки Евдокима; в больнице думали, что он умер от какой-то тяжелой болезни, дело было обычным и на Евдокима внимания не обратили.

Путь Владимира и Алексея через Томск и Красноярск в Иркутск и далее на Александровский завод обрисован в «Повести» очень кратко, за исключением двух эпизодов, которым посвящена особая глава (начиная с рассказа о выходе из Оренбурга ранее единый текст «Повести» стал делиться на главы), озаглавленная:

«О явлении блаженным страдальцем на пути некоего страннаго и незнакомаго человека и о его утешительных глаголех».

Странник этот являлся им дважды, и лишь через несколько месяцев после второго его явления Владимир и Алексей пришли к заключению, что они были удостоены бесед с Иисусом Христом.

Первый раз он явился им верст за 500 до Иркутска, когда «во един от дней сотвориша приставницы на пути привал, сиречь отдохновение, требоваху бо юзницы отдохнутие, нозе бо им изнемогаху от желез». Когда арестанты отдыхали «среди станка», «возлежаще по земли», снаружи этапного ограждения со стороны дороги раздался голос, спрашивавший, нет ли здесь оренбургских казаков. Конвойные разрешили Владимиру и Алексею подойти побеседовать с незнакомцем. Они увидели «некоего человека незнаемаго, стояща на протуваре (тротуаре! — *Н. П.*), обличием смуглевата, взором же умилена и речию сладкоглаголива, возраста умереннаго, видети же его яко лет 30-ти» — возраст Христа времени его проповеди. Незнакомец сказал казакам слова ободрения и пообещал им исполнение их желаний.

Он спросил их: «Поидосте ли, друзи, в путь свой? Они же

отвещавше: Поидохом, друже». Тогда он сказал, что уже прошел этим путем и идет теперь «вспять», возвращаясь «во-свояси».

Обычный вроде бы обмен репликами встретившихся на сибирском пути приобретает в контексте «Повести дивной» особый смысл. Это, конечно же, прежде всего мысль о том, что ссыльные оренбургские казаки, бредущие этапом по Иркутскому тракту, следуют мученическим путем Христа. Но в этих строках можно разглядеть и другое: Христос в первый раз является Владимиру и Алексею в облике человека, уже прошедшего сибирский каторжный путь и возвращающегося назад, быть может — беглого каторжника, подобно самим оренбургским казакам в недалеком будущем.

Таков Христос «Повести дивной», создаваемой в сибирском бегунском скиту!

Второй раз того же неизвестного странника казаки увидели в Иркутске, когда их партия остановилась посреди города, ожидая распределения арестованных на зиму. Они удивились, что человек, встреченный ими в полутысяче верст на запад от Иркутска и идущий к Уралу, опять разговаривает с ними — уже в Иркутске. Вскоре их удивление возросло, когда он сказал, что знает все обстоятельства их дела. Он повторил, что они получат все, что пожелают. Казаки ответили, что главное их желание — быть назначенными на каторгу на Александровский завод, где, по слухам, самый легкий режим и откуда проще всего бежать: «Блаженнии же того ради желающе в той завод, понеже слышаху от юзник, яко господин завода того кротчайший и милостивейший против протчих господиев, егда бо восхощут юзницы изыти из работы, то от сего господина удобнее избежати, нежели от прочих».

Удивительно характерно это главное желание наших каторжников! К нему позднее прибавятся два подобных: получить кандалы, которые удобно было бы при побеге снять, и каторжные клейма, которые можно было бы вывести. Чудесным образом (т. е. без хлопот и взяток) заступничеством самого Христа узники в конце концов получат все желаемое.

Таково понятие чуда для автора «Повести дивной»!

Не менее показательно и единственное условие, которое чудесный странник ставит для получения божественной помощи — не давать никаких взяток начальникам: «начальников ничим не одаряйте ... не давайте ни единыя цаты, господь исправит желание ваше».

Таков, по мнению Владимира, завет Христа!

Казаки были в крайнем недоумении — как можно добиться чего-то без взяток? Но все же решили последовать наставлению.

Шли дни — всю зиму до весны 1856 г. они провели в иркутском остроге, ожидая весеннего распределения на каторжные работы. Таинственный покровитель не появлялся и не подавал о себе вестей, Владимир и Алексей начали волноваться.

Они думали о возможном рациональном объяснении происшедшего, считая, что собеседник их был известным среди арестантов иркутским заступником за каторжан, который почему-либо не смог исполнить обещанного.

«Повесть дивная» содержит следующее интересное свидетельство об этом человеке:

«Бяше же недалече от града Иркутска живяше некий господин, глаголют бо о нем, яко зело бысть милостив для юзников, овем бо от имений своих помогаше, а иных искупуя во-свояси отсылал».

Иркутск 1856 г., последнего года сибирской ссылки декабристов. Как хотелось бы, чтобы наш источник сказал больше об этом человеке! Иркутское общество тех лет крайне интересует сейчас историков, этому способствует поразительная, какая-то личная заинтересованность самого широкого читателя во всем, что связано с сибирским подвигом декабристов. Я поражался, будучи в Иркутске, как буквально весь город поддерживает все, что делается Обществом охраны памятников, Союзом писателей, Иркутским университетом для сохранения благодарной памяти об этих людях и их сибирских друзьях.

Поведай «Повесть дивная» чуть больше об Иркутске того, 1856 г.— какое удивительное пересечение исторических линий могло бы возникнуть. Но молчит источник. Не будем винить Владимира — круг интересов его иной, да и много ли разглядишь в Иркутске из тюремного острога? Так и не дает нам «Повесть дивная» никаких дополнительных сведений о добром иркутянине, которого оренбургские казаки, кажется, приняли за самого Иисуса Христа!

В конце концов удивительным образом Владимир и Алексей безо всяких взяток узнали полную меру каторжной удачи — удобный для побега завод, снимающиеся кандалы и каторжное клеймо, которое можно вывести.

Как только они сообразили, что иркутский благодетель ко всему этому не причастен, они сразу подумали, что такое в России могло случиться лишь по непосредственному веленью божию. И тут-то они вдруг вспомнили, что лицо их собеседника удивительно напоминало иконописные изображения Христа.

Больше всевышнего вроде бы и просить было не о чем — остальное было в их руках. К тому же уже безо всякой их просьбы или молитвы небесное покровительство простерлось еще дальше: на заводе с Владимира через две недели вообще

сняли кандалы и назначили на внешние работы в лесу, рубить дрова для завода. «И тако даша блаженному орудие, глаголемое топор, и испустиша его вон». Алексея расковали еще раньше и он уже успел приготовить «вся, потребная на путь».

Владимир и через много лет хорошо помнил то чувство удивительной радости и легкости, которое охватило его, когда он ощутил, что на нем нет оков и стража не стоит за его плечами, помнил, как плакал он от радости, «смотряше на нозе и не видяше на себе железз». Владимир выбежал из «полаты», где с него снимали кандалы, «яко лев из вертепа или яко орел из бездны».

Той же ночью Владимир и Алексей бежали с каторги.

* * *

«Повесть дивная» краткости ради опускает все подробности обратного пути. Краткость эта имеет и рациональную сторону, вполне понятную с точки зрения общечеловеческой этики, но особенно характерную для бегунов-странников: она позволяет не описывать, кто и как прятал беглых каторжников. (Согласие бегунов знает два разряда посвященных: «истинных» странников и «страннопримцев», помогающих первым скрываться; имена тех и других держатся в строгой тайне.) Впрочем, в последующем изложении «Повесть» будет называть имена некоторых лиц, укрывавших Владимира.

Мы не знаем, как и при каких обстоятельствах первоначальное стремление принять мученическую смерть от рук антихриста стало у обоих выживших казаков заменяться другой программой действий: побег с каторги и дальнейшая нелегальная жизнь в тайном лесном убежище, вне досягаемости слуг антихриста. Установка на побег была у них сильной уже по дороге на каторгу и была осуществлена, как мы видели, при первой же возможности. Сама по себе эта установка вполне логична, для отвергающих «мир Антихриста» казаков такое поведение стало наиболее вероятным, как только в оренбургской больнице они не поддержали голодовку Ивана. (Правда, Евдоким позднее изменил свой выбор.)

Вместе с тем, решаясь на побег и дальнейшую лесную жизнь, оренбургские казаки продолжали прочную традицию, корнями уходящую в глубь веков. Это та же традиция, что наполняла тысячами беглецов лесные убежища Мирона Галанина, холопа Максима и многих других расколоучителей прошлых веков. В рамках этой традиции вполне земные причины побега от податей, рекрутчины, с каторги и т. д. освящались древними раннехристианскими идеалами пустынножительства, страннолриимства. Возникшие лесные убежища — скиты были опорными

пунктами старообрядческих организаций в крестьянской среде и держались только поддержкой этой среды.

Это был процесс, по внутренней своей сути в корне противоположный (при всем внешнем сходстве) тому, который приводил в допетровской Руси к созданию монастырей-феодалов. Здесь возникали совершенно иные коллективы: трудовые общины, исповедовавшие идеал Максима Грека — нестяжание, жизнь от плодов рук своих. Перерождению таких общин в монастыри-эксплуататоры препятствовал их тайный характер, правительственные и церковные преследования.

В то же время в крестьянской среде раннехристианский идеал скитского пустынножительства не раз вступал в острое противоречие с потребностью в семейной жизни, основывавшейся и на хозяйственных нуждах крестьянского двора. Еще до создания в конце XVIII в. беглым солдатом Евфимием согласия бегунов-странников противоречие это не раз приводило к самым невероятным попыткам сочетания пустынножительства и семейной жизни. Хотя бегунские скиты отличались довольно аскетическими правилами, и в этом крайне радикальном согласии отступления от требований сурового плотского воздержания не было такой уж редкостью, а известных руководителей согласия, бывало, сопровождали в их нелегкой скитальческой жизни горячо преданные им сторонницы.

Владимира и Алексея, бежавших из сибирской каторги, вряд ли еще можно назвать настоящими бегунами и, как мы говорили, «Повесть дивная» почти не дает реальных фактов для суждения о том, как постепенно усиливались в их мировоззрении, идеологии бегунские черты.

Придя «во свою страну» («Повесть» имеет в виду Урал вообще, а не родину беглецов), они какое-то время укрывались в селах, переходя из дома в дом. Однако люди опасались подолгу держать их, и беглые вскоре стали думать о лесном убежище: «начаша испытовати о пустынном и уединительном месте для жительства хотящим уединитися от мирскаго сожития... и уведевше от неких, яко во области Режевскаго завода в прилежании села Покровского есть таковая пустыня непроходная для уединительного жительства».

Отправились туда весной 1857 г., после пасхи (7 апреля). Так начинается пустынножительная часть «Повести». Как видим, при всем обилии в нашем источнике с первых его страниц рассуждений о бегстве в «пустынь» как одном из двух (наряду с мученической кончиной) путей спасения души, наших героев приводят туда вполне земные обстоятельства: прятаться в селах становится слишком опасно. Об этом вполне откровенно рассказывает Владимир.

И другая характерная деталь. Будущий авторитетный алтай-

ский старец, начиная свой первый скитский опыт, считал возможным создание какой-то формы семейного пустынножительного поселения, осознавая одновременно всю неканоничность, греховность любых творческих поисков в этом направлении.

Вместе с двумя беглыми казаками для обретения пустынной жизни отправились два члена семьи их последнего укрывателя, Потапа Осипова — его сестра «дева лет около пятидесяти именем Стефанида» и муж другой его сестры Окантий. Этот последний решил переселиться в «пустынь» вместе с женой и детьми и поехал присмотреть место, возвести постройки и приготовить все к переезду. Стефанида же решила идти в скит, ибо «любовь велию стяжа ко блаженным страдальцем, паче же к рабу божию блаженному Владимиру, любяше бо его паче меры». Ощущая некоторую зазорность ситуации, «блаженные» сразу же заявили, что смогут взять ее, лишь если с ней будет какая-либо «подруга» (планируя создание отдельного женского скита). Но «дева Стефанида» «отнюдь не хотяше разлучитися от раба божия, любезнейши желаше с ними смерть вкусити, нежели разлучение от него терпети». В конце концов решили взять Стефаниду с собой, имея в виду, что позднее к ней присоединится ее сестра, жена Окантия. Правда, у самого Окантия были иные планы — создать семейную «пустынь» для себя, жены и детей.

К тому времени, когда в мои руки попала «Повесть дивная», такие планы, кощунственные с точки зрения монастырского устава любого православного монастыря, меня уже не удивляли. Рассказы о попытках осуществления подобных планов я уже слышал в сибирских старообрядческих поселениях. Рассказывали, например, как вскоре после реформы 1861 г. несколько крестьянских семей, ожидая скорого прихода антихриста, в полном составе бежали в дебри кузнецких лесов и основали там скиты. Но антихрист все не приходил, былая строгость скитских порядков ослабела, и когда вошло в брачный возраст поколение, рожденное в «пустыни», было решено «вернуться в мир». Во многих сибирских скитах считалось грехом держать собак; эти молодые люди никогда прежде собак поэтому не видели, и принимали их сначала за овечек.

Новосибирский исследователь Л. К. Куандыков занялся источником, который многим казался наиболее бедным исторической информацией — монастырскими уставами знаменитого поморского согласия старообрядцев — Выговской пустыни. Вскрылась наполненная драматическими поворотами картина борьбы братьев Денисовых и других авторитетных руководителей Выгорецим за осуществление монастырских принципов, столкновение этих принципов с прочными традициями жизни крестьянской

семьи, двора. Итоги бывали подчас неожиданными — оказалось, что настоящих монахов на Выге было очень мало даже в стенах самой «пустыни». А вокруг нее в многочисленных поселениях создалось необычное среднее положение, когда строгие монастырские уставы о молитвах, постах и некоторые другие сочетались с традиционными нормами семейной жизни крестьянского двора.

Но вернемся к «блаженным» беглым каторжникам «Повести дивной». Шли они со всяческими предосторожностями, значительную часть пути проходили перед рассветом; если доводилось проспать рассвет, в наказание весь день постились. Окантий быстро устал от такой дороги и вернулся домой, пообещав все же вскоре привести в будущий скит всю свою семью.

В селе Покровском сразу же нашли человека, имевшего связи с соседним пустынножителем старцем Мельхиседеком. Тот принял новых беглецов и разрешил им поставить келью невдалеке от своей. Осенью келья была готова; Владимир, Алексей и Стефанида поселились в ней, сохраняя самые дружеские отношения с Мельхиседеком и часто посещая его. К какому старообрядческому согласию принадлежал этот последний — наш источник умалчивает.

В конце осени стало ясно, что семьи Окантия ждать нечего, «тогда блаженнии начаша между собою советовати, како бы житие свое устроити по воли божии». За этой торжественной формулировкой скрывались неприятные мысли о невозможности дальнейшей жизни Стефаниды в одной келье с двумя пустынниками. Стефаниде было заявлено: «Нам же невозможно есть с тобою вкупе пребывати, понеже жена еси, и едина, посреде нас». Несмотря на все уверения Стефаниды, что она не вынесет и часа разлуки, несмотря на ее обильные слезы, когда она «поверже себе на землю, емлющися по нозе их, слезами омокая землю», несчастную 50-летнюю деву отправили назад на родину, искать себе «другиню» для пустынной жизни.

К концу 1857 г. Владимир и Алексей, не успевшие еще завести своего хозяйства, стали сильно ощущать нехватку продовольствия. Но на рождество пришло неожиданное избавление от голода. Конечно же, «чудесным образом» провидение направило к стенам нового скита некоего лося, за которым охотился крестьянин села Покровского Тимофей Рябов. Преследуя зверя, охотник обнаружил избушку беглецов и познакомился с ними. В избушке он увидел «книги, подрушники и лестовочки» — обычная обстановка старообрядческого скита. (Очень интересно, что при этом не названы иконы — то ли Владимир уже тогда решил отказаться от них, то ли они не упомянуты в «Повести» под влиянием последующей иконобор-

ческой практики алтайского скита Владимира.) Умиленный «святой жизнью» новых отшельников, Тимофей пообещал снабдить их необходимыми продуктами и к рождеству выполнил свое обещание.

Среди зимы, на сырной неделе 1858 г. (27 января — 2 февраля) в скит неожиданно вернулась Стефанида и сообщила, что все ее попытки найти себе «другиню» окончились неудачей. Рассказывая об этом на страницах «Повести дивной», Владимир ощущает себя несколько обиженным и ущемленным потому, что так-таки никого и не нашлось тогда, кто стремился бы разделить со Стефанидой радость общения с ним. Наш источник пространно разъясняет читателю, что это случилось неспроста, «богу тако изволившу»; потом таких «желающих женскаго пола» оказалось сколько угодно, «мнози таковии обретошася старицы и жены средняго возраста и девицы младыя мнози», жаждущие спастись при помощи Владимира, но тогда Стефанида осталась одна, дабы тем самым лучше явить образец всем «предбудущим» почитательницам «блаженного».

Бросившись в ноги Владимиру, Стефанида опять заявила, что не сможет жить без него и умрет, если он ее отправит обратно. В защиту своей просьбы она сумела найти весьма весомый для Владимира аргумент: несомненно, что столь безмерная любовь внушена ей свыше как путь для спасения души:

«Аз бо мню, яко тобою хощет бог спасти душу мою, понеже вожжеся сердце мое к тебе любовию безмерною и не могу ни единаго часа промедлити, еже бы честнаго лица твоего не видети, ниже сладкия беседы медоточных словес твоих не слышати».

Владимир сдался. Он объяснил Алексею, что не сможет взять на себя ответственность противостоять планам всевышнего о спасении души Стефаниды. «И тако прияша ю к себе в сожитие» и стали опять жить втроем в той же келье.

Но Алексей, согласившись с аргументами Стефаниды и Владимира, тут же объявил в свою очередь, что он собирается отправиться на родину за своей семьей, а также за женой или какими-нибудь родственниками Владимира. Вскоре он ушел; Владимир остался «во единой келии со блаженною девою Стефанидою, храними божиею благодатиею».

«Повесть дивная» обидно мало и скупо говорит о контактах беглецов со своей родней. В Усть-Уйской станице Алексей уговаривал свою жену Сигклитию и жену Владимира Татьяну переехать в их «пустынь». Вроде бы последняя соглашалась сделать это немедленно, но Сигклития убедила ее подождать до лета, чтобы уехать вместе со всеми детьми. А пока Алексей уломал отправиться с ним в качестве подруги Стефаниды

некую соседку, жену Дмитрия Иванова, имевшую уже взрослого сына Ивана. Владимир крайне скептически отнесся к этому выбору Алексея. Он подчеркивает, что новая подруга Стефаниды «невежда сущи нравом, отнюдь ничто же ведущи, ни писания, ни чтения, ни пустынного жития». Из-за этой ошибки Алексея в конце концов и рухнул, по мнению Владимира, весь их первый опыт пустынножительства.

Алексей вернулся из своей поездки в конце марта 1858 г., вскоре в семи верстах от первой кельи поставили вторую, и мужчины перешли в нее, оставив женщин в первой. Летние месяцы прошли спокойно, и Владимир надолго сохранил воспоминание о них как о самом приятном и радостном времени своей непростой жизни. Когда выдавался «день ясный и веселый и солнечный и тишиною красящийся», пустынники гуляли близ своей кельи, подчас даже рисковали громко петь.

Но в конце лета этой лесной идиллии пришел конец: из родной станицы к пустынникам переселились сразу девять человек, в том числе шестеро малолетних детей. Приехали жена Алексея с детьми, мать Владимира с его детьми (Татьяна незадолго до этого умерла) и Иван, сын новой пустынницы, «подруги» Стефаниды.

От этого последнего и пришла беда. Иван сначала попытался увести из лесу свою мать и Стефаниду, обманно сказав им, что пустынников арестовали и что надо спасаться. Когда же обман разоблачился, он бежал из лесу в село Покровское и объявил там в волостном правлении, что может показать тайное убежище разбойников. Отряд из 30 человек, приведенный Иваном, ночью внезапно захватил обе избушки. Пустынники-беглецы, оказалось, имели обыкновение каждую ночь, сменяясь, стеречь свою келью, но в эту ночь сон сморил всех обитателей избушки. Имущество скита было тут же разграблено с посильной помощью Ивана; в лесных кельях к тому времени уже было немалое количество муки, крупы, масла, рыбы.

Всех обитателей двух избушек арестовали и отправили в село Покровское, где началось предварительное следствие. Владимир, Алексей и их родные, включая всех детей, тут же начали голодовку. Пустынники прекратили голодовку через 7 дней, их родные—через 12. Стефанида, отказавшаяся от еды вместе с ними, голодовки так и не прекратила до самой своей смерти на 17-й день (она не только не ела, но и не пила).

Жителей Усть-Уйской станицы отправили по этапу на родину, а беглых каторжников перевели в Нрбитский тюремный замок.

* * *

Последние полтора десятка листов «Повести дивной».

Такое впечатление, что все, о чем рассказывается на этих листах, происходит во второй раз. Снова следствие и суд, «кафермацыя» и экзекуция, больница, этап, побег с иркутской каторги, возвращение на Урал. Снова полная опасностей тайная жизнь у преданных укрывателей и подготовка к основанию нового скитского центра. Но есть на этих листах и новое: быстрый рост популярности Владимира после второй экзекуции, рост его собственной убежденности в особом смысле его мученического пути, его внутренняя решимость стать лидером этого центра, уведя с собою в побег значительную группу уральских жителей.

За первый побег с каторги суд в Ирбите приговорил «их наказати на ешафоте палачем: бити плетью 50 ударов за побег, да еще 10 за предателя» (т. е. за попытку совращения в раскол и побег Ивана).

Эта вторая экзекуция состоялась 2 декабря 1858 г., через 49 месяцев после первой. По отработанной за века палаческой традиции осужденных везли к эшафоту в особой позорной телеге:

«Повелевше начальницы исправити великолепную колесницу, то есть телегу на то уготованную, видом черную, высоку зело, имущу два колеса велики. А телега же та сверху круглая, подобна бочки, отнюдь вся черная. А наверху посреди телеги тоя столбик, к нему же виновнаго человека посадивше привязоваху вспять лицем на позор всем людем, и на посрамление тому человеку... Седя же блаженный на той великолепной колеснице, хваля и благословя бога, сподобившего его, яко же Илию, на огненную колесницу всести на показание всем людем. Бе же колесница та высотою от земли яко три аршина.

Привезше же блаженнаго к ешафоту и снемъше его оттуду. Бе же ешафот устроен по квадрату на четыре углы, от земли яко два аршина, весь черн, и насланый пол, на нем же утвержен столп, к столпу же пристроена дска, един конец подобно скамьи на ногах, а другий на полу, на тую дску привязуют виновнаго человека вниз лицем... Тогда палачь привяжет виновника и начнет бити его плетью, плеть же та о три хвоста, плетеная из ремней, гранатая».

Палач, привязывая Владимира, шепнул ему: «Аз тя буду легко бити, а ты же велегласно кричи: Помилуйте! И егда услышат начальницы глас твой, мнети имут, яко жестоко бию тя». Владимир не желал просить антихристовых начальников о милосердии, ведь мучение от их рук было его целью. Но было по-настоящему страшно, и он придумал маленькую хитрость, о которой простодушно рассказывает своим алтайским слушателям: «Блаженный же сия слышав, и яко человек помыслив в

себе, глаголя: Буду глаголати „Господи, помилуй!" „ Господи" реку тихо, а „помилуй" громчае и вменится им, яко зову: „Помилуйте!"

Но при первом же ударе эти расчеты были позабыты Владимиром, и он стал при каждом ударе громко кричать «исусову молитву», прося милосердия лишь у Христа. В результате его били очень жестоко. Владимиру казалось, что Алексея били куда легче.

На сей раз их отхаживали в больнице вдвое больше, чем после первой экзекуции. Лишь через полгода их перевели в Ирбитский острог, где они больше месяца ожидали этапа.

Все эти месяцы Владимир, с трудом приходя в себя после наказания, напряженно размышлял о превратностях своей судьбы, укрепляясь в мысли, что пережитые им испытания ниспосланы ему неспроста, «яко же бо дважды оранная земля хорошую и прекрасную ниву творит и зрелый плод пшеницы приносит, от нея же угоден цареви обед устрояется». У него теперь нет сомнений, что в наступившие «последние времена» всевышний, двукратно «очистив его от всякия скверны плоти и духа, и сотворив его чист сосуд избран честен на вмещение дара божественнаго, ему же изволи открыти тайну божественнаго своего смотрения и обновления вконец истлевшаго и отпадшаго рода человеческаго, восхоте его сим образом обновити и в паки бытие совершенна поставити».

Вот так — ни мало, ни много: две страшные экзекуции делают из Владимира нового Мессию, обновителя человечества. Рассыпанные по всей «Повести дивной» сопоставления Владимира с Христом находят свое логическое завершение. Страдания Владимира сродни страстям Христа, а позорные наказания позорят лишь наказывающих. Божественная правда — не в лагере тех, которые отдают и исполняют приказы о «зеленой улице», сооружают «ешафоты».

Но «Повесть дивная» не стремится стать новым Евангелием. И, в частности, она не излагает основ религиозного и этического учения Владимира. Мы так и не знаем, какую систему догм он создал или воспринял — предполагаемые читатели «Повести» жили внутри этой системы, для них она была повседневностью. Мы не в силах по этому источнику уверенно найти место алтайского скита Владимира в пестрой картине самых разнообразных вероучений, толков, согласий, сект, оппозиционных синодальному православию. Ожидание конца света и мессианство были характерны для многих из них. Наиболее вероятно, что учение Владимира было близко к какому-то из направлений бегунства, будучи в то же время довольно самобытным явлением: «Повесть дивная» не обнаруживает тесной, непосредственной связи с литературной традицией бегунов.

Осенью 1859 г. этап с Владимиром и Алексеем пришел в Иркутск. Почти сразу же они опять бежали, всю зиму шли на запад и к весне 1860 г. пришли в Курган. Здесь, скрываясь, праздновали пасху (3 апреля) и затем направились «ближае ко своему отечеству», в Шадринск.

Больше года их укрывали в Шадринске и окрестных селах. Наш источник подробно рассказывает о приключениях этих месяцев. Сначала их прятали люди, познакомившиеся с ними еще в Ирбите, после второй экзекуции, и тогда же ставшие их преданными учениками. Дважды власти нападали в Шадринске на их след; однажды Владимиру пришлось отсиживаться в подполе того дома, где их искали. Он провел там 12 дней. Два месяца в одном из тайников вместе с Владимиром жила его семилетняя дочь. Отец обучал ее грамоте. Старшая дочь Алексея Ирина также нашла отца и вместе со своей матерью жила с ним некоторое время.

Владимир считает, что именно ее неосторожная болтовня чуть было не стоила им свободы.

Пасху 1861 г. Владимир встретил, «седяще под полом в сенях» одного из шадринских домов; через несколько дней его переправили в село в 45 верстах от города. Но и здесь было небезопасно, несмотря на рост числа приверженцев. Владимир и Алексей начинают активно искать такие отдаленные края, где можно было бы надежно укрыться от властей.

Весьма характерно, что направления этого поиска совпадают с путями вольной крестьянской колонизации. Сначала Алексей вместе с одной из своих сторонниц, шадринской купчихой Агафьей, отправился искать подходящее место приблизительно туда же, куда хотели бежать братья Трегубовы во время своей киевской поездки — «хождаху к Черному морю для разыскания пустынного жительства». На юге Украины, на Кавказе и в Закавказье находилось тогда немало оппозиционных религиозных общин. Но шадринские посланцы не нашли там ничего подходящего. И вот тогда было принято правильное решение: бежать туда, где давно уже существовал целый обширный мир тайных убежищ, скрывавших никем не сосчитанные толпы беглецов.

«Тогда паки начаша совет творити с христолюбцы, еже бы ехати в Алтайския горы и тамо осмотрети вся пустынная места». В этих совещаниях участвовало уже около 25 сторонников Владимира и Алексея, стремившихся к созданию нового скитского центра. Разведка во главе с тем же Алексеем была послана по традиционному маршруту крестьянского побега, по освоенной бегунами дороге на Алтай, дороге искателей «вольных земель», таинственной страны крестьянской свободы — Беловодья. На сей раз искомое место было найдено:

«Они же ехаста тамо (на Алтай.— *Н. П.*) и обшедше неколико гор и на едином холму обретоша пещеру удобну ко вселению и невходну человеком, возлюбиша же место то зело».

Алексей вернулся назад, чтобы привести к этому месту остальных. Вскоре сборы в далекий путь были закончены. Владимир, чтобы его не остановили в дороге, переоделся в купеческую одежду.

На описании этого переодевания внезапно обрывается текст «Повести дивной».

Осталась недописанной страница, на следующем листе писец успел проставить его номер — 232-й, но текста на этом листе уже нет.

Понятно, что наш источник не может объяснить, что случилось: смерть ли помешала закончить «Повесть», внезапный набег властей на скит или что-нибудь другое. Так «Повесть» неожиданно расстается со своим героем, оставляя его на новом пути в Сибирь.

* * *

Но есть другие источники.

В апреле 1868 г. бийский исправник Земляницын в донесении томскому губернатору сообщил следующее.

Весной и летом 1867 г. Крутоберезовское волостное правление (Алтай) получило два известия о том, что в непроходимых горных ущельях в верховьях реки Убы тайно живут неизвестные люди. Однажды какой-то пасечник, возвращаясь с пасеки, заметил в глухом месте лыжный след и, пойдя по нему, спустя долгое время заметил жилые избушки, но испугался и повернул назад. В другой раз один крестьянин встретил в лесу примерно в тех же местах 14-летнюю дочь своего соседа, уехавшего, как считалось, в Семипалатинск. Девочка рассказала, что на самом деле их семья бежала в горы, в избушки, где жили старики; один из них начал обучать ее грамоте. Но девочка соскучилась в лесу и ночью одна тайно ушла домой, однако сбилась с пути и несколько дней блуждала по горам.

По этим известиям волостной старшина с понятыми отправился на поиски. Их отряд в конце концов вышел к шести избушкам, но скитников успели предупредить и избушки были поспешно оставлены. В одной из них обнаружили рукопись, раскрытую на тексте о царствующем антихристе (подобных подпольных рукописей в тех краях бытовало тогда так много, что какой-то церковнослужитель в сердцах заметил, что местные жители все узнают об антихристе, еще ничего не зная о Христе).

Узнав об этой экспедиции, Бийский земский суд поручил своему заседателю Звенигородскому произвести дальнейшие

розыски. Наведя справки окольными путями, тот выяснил, что жители этих избушек ушли верст за 70 в более глухие места, на Белую Убу, к заимке-пасеке поселившегося недавно там тобольского крестьянина Ивана Шадрина, тайного агента пустынников, всячески им помогающего.

Весной 1868 г. Звенигородский снарядил в эти места поисковый отряд. Правда, проводники из местных крестьян всячески

«На описании этого переодевания внезапно обрывается текст «Повести дивной», страница осталась недописанной»

мешали заседателю, десяток дней напрасно таскали его с одной горной вершины на другую, но в конце концов Звенигородский обманул их и обнаружил главный пустынножительный центр из четырех новых просторных изб с кузницей, слесарней, кладовыми, погребами. Захватили 100 пудов ржаной и 25 просяной муки, три пуда масла, два пуда сухой рыбы и «много смолотого в муку древесного гнилья (коры?), употреблявшегося скитниками в пищу вместе с хлебной мукой». Хотя людей не было, но печи были еще теплыми, в одной из них осталась квашня заведенного теста. Звенигородский стал интенсивно

прочесывать местность и в густом пихтовом лесу нашел большую группу мужчин и женщин, детей и дряхлых стариков. Вскоре он выловил еще несколько человек в окрестных лесах и на заимке Ивана Шадрина, где за пасекой он обнаружил помещение хорошо оборудованного скриптория; там было много рукописных книг, включая пергаментные, большой переплетный станок, различные краски и т. д. Многие конфискованные книги были потом Звенигородским с изрядной прибылью проданы каким-то другим алтайским старообрядцам. Не без горечи читал я донос об этой корыстной сделке. Ох уж эти представления русских провинциальных судейских о большой наживе, о покупной цене на собственную совесть. Любой настоящий коллекционер дал бы Звенигородскому за пергамент во много раз больше, чем он мог выручить на Алтае, а рукописи были бы спасены для науки.

Хотя Звенигородский узнал, что у разгромленного им скитского центра верстах в 20 имеется обширная периферия, где прячется немало беглецов, он отказался от дальнейших поисков из-за опасения, что не сможет конвоировать уже захваченных пустынников: их было около 70 человек!

И все они главным своим наставником называли «Владимира Григорьева Трегубова, ссыльно-каторжного из оренбургских казаков».

Владимир был захвачен вместе с остальными, в пихтовом лесу, и не думал отпираться от своего главенства. Среди его паствы оказались выходцы из разных губерний Европейской России, а также из соседних алтайских сел. Во «владениях» Трегубова были отдельные избы для мужчин, для женщин и для семейных. Хотя у некоторых скитников были паспорта, Владимир не разрешал их держать при себе, их уничтожали или прятали в особом месте на пасеке. Скиты Владимира были бегунскими, и такое отношение к паспортам соответствовало бегунской традиции — вместо официальных паспортов бегуны часто имели свои, своеобразно пародирующие формулы казенного паспорта. О других деталях идеологии этого центра документы почти не сообщают. Известно лишь, что скитники должны были жить трудами рук своих, не отвергая и помощи «соседних» крестьян (ближайшее село было в 150 верстах). При скитах были огороды и мастерские, хлеб получали от «радетелей». В одной мастерской было меднолитейное производство — вероятнее всего, изготовляли застежки для книг. При обилии книг в скитах, при широких масштабах производства рукописных книг (о чем свидетельствовали многие арестованные), икон там не было; не было и отдельной моленной. Таким образом, в скиту Владимира отвергали иконы и публичное богослужение, что вполне согласуется, как мы видели, со сведениями «Пове-

сти дивной». Все это не было особой новостью для Алтая, где и раньше протест против официальной церковной идеологии, обряда, принимал формы иконоборчества, немоления.

Несомненно, что и при «государе-освободителе» Александре II Владимир продолжал относиться к царской власти как антихристовой. И в этом также видно сходство скита Владимира со многими другими алтайскими скитами того времени, как бегунскими, так и прочими. Хороший знаток раскола в пределах Томской губернии томский протоиерей Д. Н. Беликов особо подчеркивал именно эту сторону идеологии лесных беглецов. Так, например, более 80 обитателей скита Никиты Вихляева, существовавшего около 30 лет и раскрытого в 1874 г., заявляли, что «государя не признают, гражданские законы отвергают, податей не платят и платить не будут, паспорта в руки не возьмут».

И еще одна характерная черта, бросающаяся в глаза при чтении дела о разгроме алтайского скита Владимира Трегубова и заставляющая вспомнить сходные страницы «Повести дивной». При всем своем бегунском радикализме Владимир отнюдь не отгораживался от крестьян, принадлежавших к иным старообрядческим согласиям, в том числе к весьма распространенным в этих краях «поморскому» и «часовенному». Местные старообрядцы всячески помогали скиту Владимира, многие из них переселились туда. Бийский исправник сообщал губернатору: «Деревни, примыкающие к горам, раскольничьи исключительно, и оне как бы окарауливают входы в Алтай и тем охраняют тамошних пустынников. Не нужно забывать, что у раскольников имеется своя организация и при ее существовании нелегко выследить то, что старообрядчество желает скрыть сознательно и намеренно». Исправник предлагал поэтому не расширять следствия по делу скита Владимира, не вылавливать спасшихся беглецов, чтобы не вызвать «озлобления в деревнях». И губернатор послушался этого совета.

Из числа пойманных заседателем Звенигородским пустынников семеро, включая Владимира, были отправлены в бийскую тюрьму, остальных же разместили по дворам в деревне Верх-Убинской, под надзором волостного правления. Но вскоре они начали разбегаться. К тому же среди поднадзорных вдруг «открылась усиленная смертность»: за первые три месяца умерло 27 человек и разбежалось 13. Лишь года через три, когда несколько человек «умерших» были вновь пойманы на Алтае в потаенных кельях, власти спохватились. Была назначена специальная комиссия от Главного управления Западной Сибири. Раскопали могилы, в гробах оказалась солома. Руководитель операции заседатель Будзинский включил в донесение слова: «Такие ли еще дела делались у нас в Бийском округе!».

Владимир к этому времени уже был в бегах. Свой третий побег он совершил с дороги, когда его вели в бийскую тюрьму. Вскоре власти узнали, что, собрав вокруг себя около 50 человек, он ушел создавать новый скит в более глухие места, возможно — в тайгу.

Это последние сведения известных сейчас источников о беглом каторжнике из оренбургских казаков Владимире Трегубове.

Теперь вернемся к оборванной на половине фразы рукописи «Повести дивной». Легко можно представить себе, как неизвестный грамотей из скита Владимира, создавая по рассказам главы скита его житие, был прерван вторжением отряда Звенигородского и бежал, унося с собою рукопись. (Кстати говоря, через несколько месяцев после набега заседателя выяснилось, что на пасеке Ивана Шадрина была захвачена лишь небольшая часть продукции трегубовского скриптория, остальное удалось спрятать и затем переправить в безопасное укрытие, куда ушли и невыловленные обитатели скита вместе со многими новыми пришельцами из-за Урала.)

Вроде бы перед нами поразительное совпадение: сделанное Звенигородским описание скриптория — и его продукция, рукопись «Повести дивной». И тогда оказывается, что наша рукопись писалась на пасеке Шадрина (или в главном скиту), раскрашивалась теми красками, о которых упоминает Звенигородский, переплеталась на захваченных им станке и прессе, переплет ее получил тиснение и медные застежки, спни, изготовленные в мастерских скита.

Может быть, так и было. Но есть два обстоятельства, говорящие против такого красивого предположения. Бумага рукописи, как мы упоминали, по штемпелю датируется не 1860-ми, а 1880-ми гг. Правда, мы не настолько хорошо знаем всю систему штемпелей того времени, чтобы быть абсолютно уверенными в точных границах употребления каждого из них, но все-таки разрыв получается слишком большой. Предположение о том, что перед нами созданный позднее кем-то список с подлинной, авторской рукописи «Повести», должно быть отвергнуто: наша рукопись имеет правку, сделанную тем же, основным почерком рукописи, а по содержанию правка эта является авторской, сделанной со слов Владимира.

Кроме того, следует помнить, что в 1868 г. Владимиру было лишь 40 лет. И хотя «Повесть дивная» прямо не говорит о возрасте алтайского наставника, вспоминающего о своей жизни, все же складывается впечатление, что возраст этот более почтенный; в предисловиях к «Повести» подчеркивается, что со времени подвига Владимира и его друзей прошло много лет, за время которых их история стала забываться.

Все эти соображения не имеют абсолютной доказательной силы, но все же заставляют предположить, что «Повесть дивная», возможно, была создана не в 1868 г., а на более позднем этапе жизни ее героя, в другом пустынножительном центре, созданном им после разгрома убинского.

Вот и все, что известно нам об этой интересной жизни и о книге, рассказывающей о ней. Жизни, наполненной яростным, пронзительным ощущением несправедливости, общественного зла, невозможности мириться с ним. Жизни, наполненной протестом и мученичеством, унижением и горделивым ощущением исключительности собственной земной миссии. Жизни, в которую вместились две экзекуции, две «встречи с Христом», три побега, тысяч двадцать пять верст столбовых дорог и тайных троп, пройденных пешком, и по крайней мере три попытки создания общин, независимых от власти царствующего антихриста. Жизни, о которой российское общество и его историки не знали ничего.

* * *

Почти за двадцать лет до письма главного врача оренбургской больницы Колышкина В. А. Перовскому с просьбой не посылать более на излечение убитых им людей он получил другое письмо. Вот оно:

«Посылаю тебе Историю Пугачева в память прогулки нашей в Берды; и еще 3 экземпл.[яра], Далю, Покатилову и тому охотнику, что вальшнепов сравнивает с Валленштейном или с Кесарем. Жалею, что в П.[етер] Б.[урге] удалось нам встретиться только на бале. До свидания, в степях или над Уралом.

Адрес: Его превосходительству — А. П.»
м. г. Василью Алексеевичу
Перовскому
etc.

Текст этот публиковался неоднократно рядом с другими письмами Александра Сергеевича Пушкина, который давно уже был с Перовским на «ты». Пушкин гостил в Оренбурге в доме Перовского в 1833 г., за год с лишним до написания этого письма, когда он приезжал на Урал в поисках материалов для «Истории Пугачева». Перовский помог ему в этих поисках, частью которых была и поездка в бывшую столицу Пугачева станицу Берды. Тогда же Перовский познакомил Пушкина с казачьим войсковым атаманом В. О. Покатиловым и охотником К. Д. Артюховым, «что вальшнепов сравнивает с Валленштейном»,— В. И. Даль в своих известных «Воспоминаниях о Пушкине» приводит тот охотничий рассказ инженер-капитана Артюхо-

ва, который стал поводом для пушкинского подарка, излагает и историю подарка.

Сам Владимир Иванович Даль впервые встретился с Пушкиным за год до его оренбургской поездки, когда он подарил Пушкину экземпляр своих «Русских сказок». Позднее Даль не раз бывал у Пушкина в Петербурге; будучи врачом по образованию, он принял деятельное участие в лечении Пушкина после дуэли и был с ним до его последних минут.

В Оренбурге Даль пребывал не случайно — Перовский сумел устроить его при себе чиновником особых поручений. Беседы Пушкина с Далем в Оренбурге, в доме у Перовского, давно уже находятся в поле пристального внимания историков русской литературы и фольклора: спорят о том, сюжеты каких сказок Пушкина были сообщены ему во время этих бесед знаменитым фольклористом, а какие сказочные сюжеты, наоборот, Пушкин изложил Далю.

По одной из версий, тогда же Даль подсказал Пушкину и сюжет, легший в основу «Мертвых душ» Гоголя.

Знакомство самого Василия Алексеевича Перовского с Пушкиным гораздо более давнее. Они познакомились вскоре после выхода Пушкина из лицея, по всей видимости, через В. А. Жуковского, другом которого был будущий оренбургский военный губернатор.

Связи Василия Алексеевича с литературными кругами шли и через близкого к декабристам его брата Алексея Алексеевича, одного из основателей Общества любителей российской словесности, писателя, весьма ценимого Пушкиным и смело защищавшего «Руслана и Людмилу» против недружественной критики.

Василий Алексеевич Перовский и сам был не лишен литературного дарования, о чем свидетельствуют публикации его писем к Жуковскому и его записок о войне 1812 г. Он был участником Бородинского сражения, а в 1839 г. успешно возглавлял поход на Хиву.

В критический день 14 декабря 1825 г. В. А. Перовский безотлучно находился при государе и поведение его контрастировало с трусостью многих придворных. Николай I хорошо запомнил это и в течение всего его правления В. А. Перовский исправно получал чины, звания, высокие должности. Полное одобрение царем мероприятий Перовского по пресечению дерзости усть-уйских казаков — лишь отражение этого императорского благоволения.

В 1855 г., когда, по мнению Владимира Трегубова, государь разгневался на Перовского за оренбургскую экзекуцию, он был возведен в графское достоинство.

Мы видим, таким образом, что главный отрицательный

персонаж «Повести дивной» находился на самом верху николаевской провинциальной администрации и был далеко не худшим ее представителем, близким к высшим литературным кругам своего времени. И это обстоятельство делает куда более значимой позицию автора «Повести»: все было бы гораздо проще и неинтереснее, если бы она объяснялась лишь враждой к особенно солдафонистому чиновнику, более других приверженному к шпицрутенам. Но конфликт, так остро ощущавшийся оренбургскими казаками, был не личным, а общественным; мы видели, как многие подчиненные Перовского стремились всячески приглушить именно это звучание усть-уйского протеста, как они готовы были замять дело, не доводя его до публичной экзекуционной церемонии 3 ноября 1854 г., если бы только удалось заставить казаков покаяться, взять назад свои слова о победившем в России зле, о царствующем антихристе, согласиться опять служить ему.

И не вина казаков, что утонченный мир прекрасной культуры, к которому принадлежал В. А. Перовский, был так далек от их историософии и оборачивался к ним преимущественно этой экзекуционной стороной[1].

Возвращаясь к началу нашего рассказа, можно констатировать, что именно здесь — великий трагизм толстовского ощущения темы, ощущения лицемерия верхов крепостнического николаевского общества, разрыва между народной и «верхушечной» культурой. И когда мы размышляем о важнейшем феномене передовой русской культуры XIX в. — ее народности, следует всегда помнить, каким нелегким делом было преодоление этого

[1] Характерная деталь: во время своего пребывания в Уральске Пушкин останавливался в доме атамана В. О. Покатилова, подчиненного В. А. Перовского, которому тот покровительствовал. Пушкин был очень доволен приемом, он писал жене: «Тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду — и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной». Великий знаток и пропагандист народного слова В. И. Даль посвятил Покатилову панегирическую статью, изобразив его любимцем казаков, чуть ли не былинным героем. Но как установил советский историк Р. В. Овчинников, тщательно проследивший судьбы всех лиц, с которыми сталкивался Пушкин в своей уральской поездке, характеристика эта далека от действительности. Казаки были крайне раздражены своекорыстием и самоуправством Покатилова, чуждого казачьим интересам. В 1837 г., когда тот дослужился уже до генерал-майора, казаки подали на него жалобу цесаревичу. Покатилов добился того, что в глазах В. А. Перовского и другого начальства этот случай стал выглядеть бунтом и в результате последовала карательная экспедиция и суд над 96 казаками, большинство которых было наказано шпицрутенами и отправлено в сибирскую ссылку, а на все Уральское войско была наложена внеочередная военная служба.

разрыва[1]. Преодоление, происходившее на путях, далеких от пустынножительных рекомендаций «Повести дивной», но сохранявшее ее ощущение необходимости борьбы с общественным злом. Преодоление, осуществлявшееся, например, Пушкиным в работе над «Историей Пугачева». Все творчество автора этой серьезнейшей попытки проникнуть в самую суть русских народных движений явилось важнейшим для судеб России прорывом средостения между культурой верхов и низов. Во многом остается загадкой гения этот свободный выход пушкинской прозы и поэзии к истокам народной культуры и мировоззрения.

[1] Далеко не самое главное, но примечательное: оренбургские казаки во время поездки Пушкина в Берды принимали его то ли за соглядатая, то ли за антихриста. Пушкин, по свидетельству Даля, лишь смеялся, узнав об этом, и, судя по его письмам, был очень доволен своими встречами и беседами с казаками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судьбы книг и людские судьбы тесно переплелись в непридуманных историях, изложенных выше. Рассказы о древних книгах — это неизбежно рассказы о людях, тех, кто их создавал, переписывал, или тех, о жизни которых повествуется на книжных страницах. Тех, кто бережно хранил громоздкие тяжелые фолианты или кто их активно выискивал, чтобы приобщить новое вещественное доказательство к делу о «злонамеренном направлении мыслей», одному из многих дел, создававшихся когда-то из переплетения доносов, следственных протоколов, экспертизы инквизиторов, рапортов экзекуторов, а ныне лежащих на архивных полках фондов Сената и Синода, Аудиториата и Тайной канцелярии. Конечно, жизнь пошла в конце концов не путями Ефрема Сибиряка и Владимира Трегубова, оставив в стороне рецепты борьбы с социальным злом, проповедовавшиеся в их бичующих сочинениях. Но карательные столпы абсолютизма недаром выискивали и искореняли с таким усердием эти тома.

Книга — памятник борьбы идей. Не только того времени, когда она создавалась, но и последующих столетий, когда ее хранили, читали, переписывали. Сочинения Максима Грека, как и рассказ о суде над ним, станут крайне актуальными в конце XVI в., когда составлялся Сибирский сборник, затем опять в конце XVII в., когда найдутся люди, фальсифицирующие тексты Афонца и другие, разоблачающие подлог. А на исходе петровского времени втайне от Синода на севере будет создано новое собрание сочинений ученика Савонаролы, и списки его дорогами крестьянской миграции и скрытыми тропами побега широко разойдутся по всей стране. И там, где на первый невнимательный взгляд многим видится лишь слепой традиционализм, отрицающий любую иную культуру, неоспоримые книжные свидетельства продемонстрируют широко раскинувшиеся в пространстве и времени культурные связи. Уход в демократическую среду со второй половины XVII в. большого массива древних книг приобщает эту среду к классическому наследию древнерусской литературы с ее переплетением межнациональных связей. Учительный, нравоучительный характер этой литературы великих проблем был близок книжникам из народа; в то же время, он был воспринят и развит классической русской литературой XIX столетия, что создавало одну из тенденций к общенациональному

культурному единству вопреки тому разрыву между культурой верхов и низов, о котором был последний наш рассказ.

Широкое бытование древнерусской книги в народной среде — осязаемое, весомое свидетельство (отягченные рюкзаками плечи удачливых археографов не раз ощущали эту весомость) непрерывности историко-культурного процесса. Этот вещественный аргумент, эта овеществленная духовность столетий — живой укор всем тем, кто сегодня повторяет нелепые, но не безвредные рассказы об «интеллектуальном молчании» Руси допетровской, о темной восточной массе, противостоящей западной цивилизации. Книги прошлых веков говорят нам не о темноте и не о противостоянии.

Из маленького охотничьего поселка близ Полярного круга, основанного когда-то единомышленниками Владимира Трегубова, бежавшими из мира антихриста, был привезен древний фолиант с рассказами о Демосфене и Аристофане, о Ромуле и Александре Македонском, об открытии Колумбом Нового света.

На одной из приобретенных сибирскими археографами русских нотных рукописей XVI в. (система нотации этой книги еще не поддается расшифровке) — едва различимая запись о том, что книга была куплена «в Якуцком остроге на великой реке Лене в лето 7156» (1647—1648 гг.), уже через несколько лет после основания Якутска. Книги проникали в Сибирь с первой же волной землепроходцев.

Тысячи и тысячи древних книг, найденных в русских деревнях не только коллегами Андрея Ивановича Ушакова и митрополита Сильвестра, но и учеными коллекционерами разных столетий от предшественников Василия Никитича Татищева до последователей Владимира Ивановича Малышева, свидетельствуют, что деревня эта была куда более «книжной», чем подчас думают. И в первую очередь — деревня севера и востока страны, где не было крепостного права. Хранение книг в этой среде — отнюдь не признак неподвижности и застоя, преданности неизменному идеалу: мы видели, как к старым авторитетным текстам прибегали в самых разных жизненных ситуациях, осмысливая их каждый раз по-новому; приписываемые Кириллу Иерусалимскому тексты по-разному звучали на шумном сборище руководителей Тарского бунта 1722 г. и в тиши алтайского тайника Владимира Трегубова. Да и сам термин «хранение» предполагал здесь отнюдь не пассивность, а предельно активную каждодневную изобретательность, крестьянскую практическую сметку, чуть прикрытую для постороннего глаза простоватой внешностью «невежественных пейзан», которым в конце концов удалось спасти бесценные сокровища древней письменности от экзекуционных команд «просвещенного абсолютизма» и синодальных

экспертов, приказавших, например, сжечь богатые тарские собрания книг.

Но в нашем столетии есть сила, действующая опустошительнее всех пожаров и методичнее всех экзекуторов былых веков,—это стихия наживы, частный спекулянт-перекупщик старины. Поэтому сохранение книг в той среде, где их так долго успешно хранили и берегли, зачастую равнозначно неминуемой гибели их для общества. Да и былые функции древней книги в этой среде уходят в прошлое. И наиболее надежное место для всех древних фолиантов — полки государственных хранилищ, где их листов будут касаться руки тех, кто знает и ценит их, кто сумеет заставить звучать сегодня строки, столетия назад доверенные пергаменту и бумаге. Не всегда просто объяснить эту истину в семьях, где из поколения в поколение передавался наказ беречь и хранить древние фолианты пуще собственной жизни. Но тысячи древних томов, ставших за последние годы на библиотечные полки в археографических центрах страны, показывают, что во многих таких семьях эту истину понимают, видят общенародное значение сохранившихся у них культурных богатств.

И поэтому самым логичным завершением этой книги рассказов о древних рукописях будет слово теплой признательности тем хранителям старых фолиантов, с которыми свели нас дороги археографического поиска и у которых хватило великодушия понять, что в наш век место их сокровищам не в крестьянских избах и таежных заимках, а в общественных хранилищах. Это и благодарность поколениям их потомков, очень часто безвестных, несмотря на усилия историков, но ушедших из жизни с сознанием причастности к сбережению истоков национальной культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 13 *...представители старинных кержацких...*— общеизвестное наименование сибирских старожилов кержаками происходит от названия р. Керженец (сами кержаки называют ее Кержь), впадающей слева в Волгу ниже г. Горького. В петровское время в керженских лесах скрывалось от церковных и правительственных преследований около 150 тысяч старообрядцев. После разгрома этого центра толпы беглецов устремились в начале 1720-х гг. на восток.

С. 14 *О сравнительных достоинствах теорий чувственного и духовного прихода антихриста на землю...*

— согласно первой из них, антихрист, как и учит церковь, воплотится на земле, приняв человеческий облик. Но в отличие от официальной церковной теории старообрядцы считали, что это воплощение уже произошло и антихрист принял облик кого-то из русских царей. По второй теории, «воцарение антихриста» — это победа на земле сил зла, происшедшая в России в 1666 г. В рамках обеих теорий были как весьма радикальные антимонархические концепции, так и крайне умеренные.

С 15 *...других согласий...*— Старообрядческие согласия: пестрый мир «раскола» делится на два основных направления — поповщина и беспоповщина. Если беспоповцы считали, что после никоновских реформ и победы в России духа зла, антихриста, «священство улетело на небо», то в поповщине были попы, перебежавшие к старообрядцам из официальной церкви («беглопоповщина»). В 1846—1847 гг. в Белой Кринице, бывшей тогда на территории Австро-Венгрии, возник старообрядческий епископат и в изобилии стали появляться собственные священники, поставленные старообрядческими епископами («белокриницкая иерархия», «австрийское согласие»).

На востоке страны главным согласием поповщины было «часовенное», названное так потому, что основными культовыми зданиями в нем были часовни. Согласие это называлось также «софонтиевским», по имени керженского деятеля, основавшего его. В XVIII в. отношение софонтиевцев к церкви и монархии постепенно радикализируется, прием беглых попов официальной церкви сокращается, а в XIX в. прекращается совсем, согласие на практике становится беспоповским. Софонтиевцы в XVIII в. организовали ряд крупных выступлений против господствующей церкви, и их преследовали особенно жестоко.

Из беспоповских согласий наиболее значительным на востоке страны было «поморское», центр которого находился на р. Выг в Поморье. Начав с категорического непризнания не только церкви, но и императорской власти, выговские идеологи постепенно перешли в XVIII в. на более умеренные позиции, что явилось одной из причин выделения из поморского согласия более радикальных крестьянских деятелей, создававших свои организации. Подобным образом в конце XVIII в. в недрах

радикальной беспоповщины возникло бегунское согласие (основатель — беглый солдат Евфимий), предельно враждебное самодержавному государству и официальной церкви, провозгласившее бегство из царства зла, бегство от подушной подати, рекрутчины и крепостничества главным догматом веры.

С. 104 *Но он не решается открыто сказать на суде об ошибке в русском тексте главного догматического документа православия* — принятый в IV в. на никейском и константинопольском соборах символ веры содержал краткую формулировку основных догм христианства. Сделанная Максимом Греком правка канонического в русской церкви текста символа веры, осужденная в 1531 г. как еретическая, была в ходе церковной реформы 1652—1667 гг. признана справедливой и внесена в текст. Отвергшие реформу старообрядцы категорически не хотят верить, что почитаемый ими Максим Грек был инициатором этого исправления.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ Н. Н. ПОКРОВСКОГО

Монографии:

1. Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971 (9,5 печ. л.).

2. Актовые источники по истории черносошного землевладения в России XIV — нач. XVI в. Новосибирск, 1973 (15 печ. л.).

3. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974 (21,5 печ. л.).

Статьи:

1. Представления крестьян-старообрядцев Урала и Сибири XVIII в. о светских властях.— В сб.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1971. Вильнюс, 1974 (0,8 печ. л.).

2. Рукописи и старопечатные книги Тюменского областного музея.— В сб.: Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975 (0,7 печ. л.).

3. Материалы по истории магических верований сибиряков XVII — XVIII вв.— В кн.: Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVII — нач. XX в. Новосибирск, 1975 (1 печ. л.).

4. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе Урала и Сибири XVIII века.— В кн.: ТОДРЛ, т. XXX. Л., 1976 (1,5 печ. л.).

5. Жалоба уральских заводских крестьян 1790 г.— В кн.: Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979 (1,5 печ. л.).

6. Синодальные документы XVIII века о русских календарных обрядах.— «Советская этнография», 1982, № 5 (1,0 печ. л.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Николай Николаевич Покровский

ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗА РЕДКИМИ
КНИГАМИ

Зав редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Н. А. Тишкова*
Художник *Т. Н. Руденко*
Художественный редактор *Н. Е. Бочарова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Н. И. Балакирева*

ИБ № 850

Сдано в набор 29.08.83. Подписано в печать 23.01.84. А07014. Формат 84×108/32. Бум. офсетная № 1-80 г. Гарнитура «Гельветика». Офсетная печать. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 20,37. Уч.-изд. л. 8,82. Тираж 55 000 экз. Заказ № 2179. Изд. № 3056. Цена 50 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Госкомиздате СССР. 113054, Москва, ул. Валовая, 28.

Покровский Н. Н.
П 48 **Путешествие за редкими книгами.**— М.: Книга, 1984.— 192 с., ил.

Автор — участник экспедиций Сибирского отделения АН СССР по выявлению старопечатных и рукописных книг. Он рассказывает об удивительных находках, благодаря которым сделано немало научных открытий, заполнены белые пятна в истории древней русской книги; о важности книжного поиска; о драматической судьбе найденных изданий, как бы повторяющих важные события в истории страны, о людях, веками хранивших книги, порой ценой своей жизни, передававших их из поколения в поколение. Читатель познакомится с историей памятников крестьянской письменности XVIII—XIX вв. в Сибири и на Урале и других редких изданий.

Для книголюбов и широкого круга читателей.

$П\frac{4503000000\text{-}049}{002(01)\text{-}84}8\text{-}84$ 76.11

50 коп.

Автор этой книги, Н. Н. Покровский — доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором археографии Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР, заместитель председателя Археографической комиссии АН СССР и председатель Сибирского отделения комиссии. С 1965 года он возглавил научную работу по созданию в Новосибирске третьего археографического центра страны (после Москвы и Ленинграда). Он — организатор и руководитель археографических экспедиций на территории Сибири, осуществляемых Сибирским отделением Археографической комиссии.

Н. Н. Покровский — автор книг:

Судные списки Максима Грека и Исака Собаки.— М., 1971. 191 с. Актовые источники по истории черносошного землевладения в России XIV — начала XVI в.— Новосибирск, 1973. 231 с.
Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в.— Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1974. 393 с.

Под его руководством издан первый том фундаментального издания «История крестьянства Сибири».— Новосибирск, 1982. 504 с.